

Даугава

В НОМЕРЕ:

Д. ЗИГМОНТЕ

Проклятие

Роман

Публицистика:

Л. Ионин:

От Варлама

к Авелю и далее ...

Рецензии

Два мнения

о книге Р. Эзеры

Мемориа

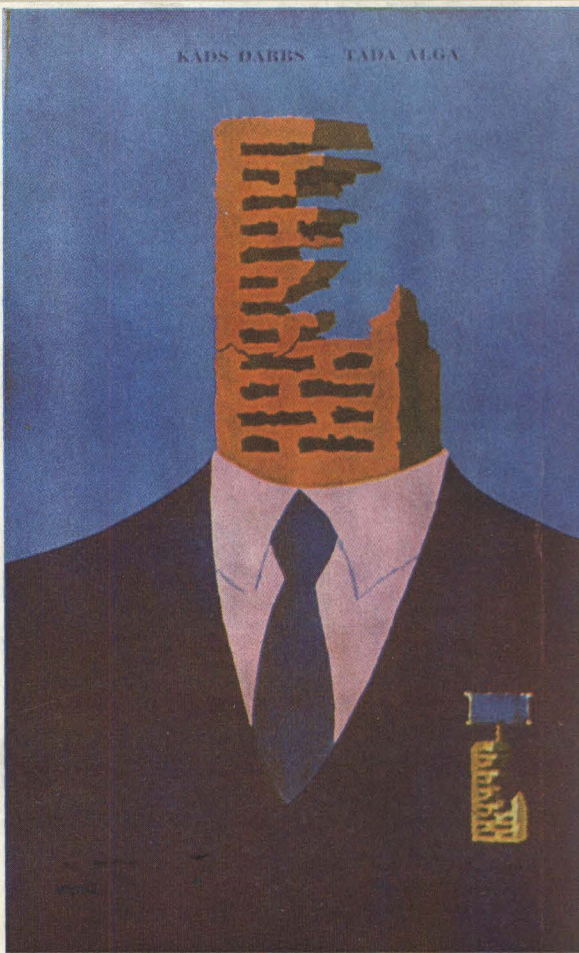
Мандельштам

и Латвия

1988

2

KADS DARBS — TADA ALGA



СОВЕТСКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ — 70 ЛЕТ.



В лесу «прифронтовом».

Фотоэтиюд Владимира Тимофеева

Даугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

2 (128)

**ФЕВРАЛЬ
1988**

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

| | |
|--|----|
| ЭЛКСНЕ А. Звезда. Стихи | 3 |
| ЗИГМОНТЕ Д. Проклятие. Роман | 6 |
| ГУТМАНИС О. По глухим болотам журавли кричат. Стихи | 53 |
| ГОРЕЛОВСКИЙ Г. У отца. Рассказ | 56 |
| ЧЕРЕВЧЕНКО А. За лесом Долгим и за лесом Круглым. Стихи | 72 |

Кафедра

| | |
|--|----|
| СКУЕНИЕКС К. Правда ближнего | 76 |
|--|----|

Обзоры, размышления, рецензии

Два мнения по одному поводу

| | |
|--|----|
| ГАЙЛИТ Г. Скольжение вниз по восходящей вверх | 80 |
| РУДНЕВ В. Errare humanum est | 82 |

Публицистика

| | |
|---|----|
| ШИШКОВА Е. От Варлама к Авелю — и далее | 86 |
|---|----|

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК КП ЛАТВИИ.
РИГА

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Memoria

| | |
|---|-----|
| ТИМЕНЧИК Р. Мандельштам и Латвия | 94 |
| Главы из автобиографической книги Осипа Мандельштама «Шум времени». Хаос Иудейский Эрфуртская программа | 96 |
| МОРОЗОВ А. История — биография — образ. Заметки читателя | 101 |
| МЕЦ А. Неизвестные стихотворения Мандельштама | 104 |
| Забывтые воспоминания о Мандельштаме | 107 |
| КАРПОВИЧ М. Мое знакомство с Мандельштамом | 109 |
| МОЧУЛЬСКИЙ К. О. Э. Мандельштам | 112 |

Книжная полка

| | |
|---|-----|
| ЛЕВКИН А. «. . . ученые должны правильно учить, как жить надо» | 115 |
| ИВЛЕВ А. Кто живет в этом доме! | 120 |
| ИСУПОВ К. Поэтика хронотопа | 123 |
| К нашим иллюстрациям | 79 |
| Панорама | 126 |

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия
Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Янис СТРАДИНЬШ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАНС (зам. главного редактора)

РЕДАКЦИЯ
Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



ЗВЕЗДА

Переведа Наталья БАБИЦКАЯ

Ария ЭЛКСНЕ (1928—1984) — латышская поэтесса, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Государственной премии Латвийской ССР. На латышском языке издано более 15 книг А. Элксне, среди них сборники стихов: «Нолосья говорят» (1960), «За тебя, земля!» (1963), «Свет вершин» (1968), «Третья бесконечность» (1971), «На берегу тишины» (1973), «Метаморфозы» (1980), «Источник сердечности» (1982), «Вересковое знамя» (1986). Среди книг стихов А. Элксне в переводе на русский язык: «Отблески земли» (1963), «В середине лета» (1969), «На берегу тишины» (1975), «Женщина» (1976). Переводила на латышский язык произведения А. Пушкина, А. Блока и других поэтов. Наша публикация приурочена к шестидесятилетию со дня рождения поэтессы.

* * *

Но ты другой. И я теперь другая.
И нет уж тех, кто в чудо верил страстно.
И лишь слова, что мы сказали,
знаю,
еще тоскуют в сумраке пространства.

Но черные гадалка мечет карты
и мне через доверчивость мою
опять сулит удушье утраты
и то, что вновь себя я повторю.

А хлеб покрылся плесенью сырой
сам по себе.

Не мы тому виной.

* * *

Такого света осень никогда
над кровлею моей не проливала.
Что от него останется? Звезда?
Иль тьма, какой от века не бывало?

Когда ночами призраки, шепча,
глядят в окно, бледны и однокрылы,
я за руку беру свое дитя —
в его руках моя святая сила.

* * *

И погас огонь, только угли тлеют.
Не пойду я к тем, кто меня жалеет.

Карнавал окончен, а жизнь идет.
Опаленная, вновь герань цветет.

Пересуды как серпантин кругом.
На столе стакан позабыт с вином.

Заколочен дом мой, умолк скворец.
Но я знаю, все это — не конец.

Выйду вновь с зарей я навстречу птицам.
Соберу опять душу по крупицам.

Не стучитесь лишь, торопя в дорогу.
Пеплом мне побыть дайте хоть немного.

* * *

Так светло и так благоговейно,
как цветок к цветку лишь может льнуть.
Так светло и так благоговейно
и греховно, может быть, чуть-чуть.

Так красиво, словно засверкали
капли в молодой листве осин.
Так внезапно, как седые камни
в реки обрываются с вершин.

Так легко и так безмерно трудно,
как плоды носящим деревьям.
Так легко и так безмерно трудно,
что едва ли сил достанет нам.

* * *

Я не смогла, я не сумела
Вас убереечь и пощадить
и от моей соленой боли
хоть каплей меньше уделить.

Я не смогла, я растерялась.
Молила лишь: «Прости! Постой!»
А Вам, наверное, казалось,
что плачет колокол ночной.

Дитя высоких колоколен,
он неба требует опять...
Теперь он бездной обездолен,
И мне —
мне нечего Вам дать.

ЛИШЬ ТЕБЕ

О, как трудно праздновать каждый день!
Положи обыденности начало.
Я не в силах крылья сейчас надеть.
От полета горнего я устала.

Быть полынью блеклой позволь с тобой.
И, изведав горечь мою, в обиде
не замкнись на долгие дни.

Такой
лишь тебе себя позволяю видеть.

* * *

И не дано слезам пролиться.
Эта
глухая боль бездонна и стара.
И под дождями вымокшее лето
сидит у догоревшего костра.

О господи! Заплакать дай, как в детстве,
и всхлипнуть высоко и тяжело,
как будто неисхлестанное сердце
багровою корой не обросло.

Дай, как и прежде, выплавав больное,
почувствовать и глубже и полней
прохладу животворного покоя
и светлую надежду меж теней.

* * *

Только дыханьем нарцисса,
только сияньем луны
я к тебе прикасаюсь
среди ночной тишины.

Не потому, что монашкой
свой совершаю путь
(тяжесть, не уменьшаясь,
давит и давит грудь),

просто хочу я навеки
быть от тебя вдали,
чтобы на свет пречистый
тени лечь не могли.

* * *

Господи, скажи мне, на какую
муку ты создал величье это,
этот разум, вскормленный страданьем,
этот взор, не спящий до рассвета?

Многое я в жизни этой знала,
но такого, боже правый, нет.
Как жесток ты был, когда не дрогнув
душу эту произвел на свет!

И, желая сквозь стекло пробиться,
вот еще одна летит, не зная,
что лишь сам собой Он вспыхнуть может
иль истлеть, во мраке исчезая.

* * *

Вырви, выбрось из сердца,
ты можешь пока —
не настала еще пора земляники.
Отведи ему место там, где река
дышит паром седым и покоем великим,
где с ветвей осыпается липовый цвет,
где разлит в тишине аромат травостоя —
только это пространство, хранящее свет,
светозарного имени будет достойно.



ПРОКЛЯТИЕ

Перевела Вика ДОРОШЕНКО

Роман

Латышский прозаик Дагния ЗИГМОНТЕ стремительно вошла в литературу. Один из ее первых рассказов «Будь сильной, Юта» (1959) был издан на русском, украинском, узбекском, французском, английском языках. Большую популярность приобрел роман «Дети и деревья тянутся к солнцу» (1959), который также был переведен на многие языки. Зигмонте — автор не одного десятка книг. Только за последние годы вышли: «Чужой» (1981), «Как странно, что идет снег» (1981), «Журавли Исполинского болота» (1982), «Реминисценции» (1986) и др. Вниманию читателей мы предлагаем журнальный вариант романа «Проклятие» (1984), который полностью выйдет в издательстве «Лиезма».

Корчма стояла прямо в центре поселка и была самой видной постройкой.

Только не надо думать, что здешние жители завзятые пьяницы, раз им понадобилась такая большая корчма. Ее строил барон, он признавал только большие, солидные здания.

В корчму шли по доброй воле, с радостью, там оставляли свои деньги, получая взамен тяжкое похмелье и скандал на другое утро, — какой же колдун вернет тебе назад твои денежки. Как был кошелек селянина утром пустой, пустым он и остался, а корчмарь пух и жирел.

И никто за это на кабак и кабатчика зла не таил. То была добровольная барщина, на которую шли крепкие мужики здешнего побережья.

Корчмарь был и правда мужик свойский, он понимал, что иной раз, хоть в кармане и пусто, все равно тянет промочить горло. И корчмарь по доброте душевной брал и натурой. Кое-кто из рыбаков, пристав к берегу, перекидывал на плечо торбу с рыбой и прямиком привил в кабак.

Если корчмарь не откажет, рыбак рад-радешенек, он сядет за темный деревянный стол или просто пройдет к стойке и ждет, когда в стопку забулькает крепкий напиток — он уже позабыл и про жгучий морской ветер, и про шестерых деток дома, и какими глазами жена сегодня смотрела, когда говорила — мукі в ларе, да будет ему известно в охапку и иди в море топиться. Он знал это и помнил до той минуты, пока не увидел сложенное из крупного камня, под желто-белой штукатуркой, здание корчмы; все окна, казалось ему, маняще мигают, двери зазывно открыты и из них, струясь над ближними избами поселка, льется запах жареной колбасы.

А жена ждет, да ждет напрасно.

Так оно и повелось здесь, на берегу моря, и дальше в глубь материка тоже. У моря жили рыбаки, те, кто каждодневно вручал свою судьбу волнам.

А когда возвращались на берег, они шли в корчму, которая в самом центре поселка.

Лине с хутора «Лайнты» никак не хотелось идти за Карла Крисберга.

Он был не из их поселка, он родился там где-то, в краю землепашцев, хотя сам пахарем не был, и Лине всегда казалось, что это чуть ли не край света, что над людьми там совсем другое небо, горизонт там всегда окутан дымкой, будь на дворе хоть и самый солнечный день. Не иначе как оттуда идут все дожди, те, что летом вымочат сено, отчего люди в поселке ходят хмурые, удрученные, а осенью тот же край насылает на них нудные, долгие дожди с холодным ветром, который до времени срывает с деревьев листья и, под конец обессилев, оставляет за собой неизбывный туман — он съедает на цветах краски и глушит звонкий говор последних птиц. Что хорошего можно ждать с той стороны? Но Карл был из богатой усадьбы, так все говорили, Карл был из хорошей семьи, и отцу он понравился.

Лина же думала о другом. Тут в поселке был один парень, ладный и темноволосый, и голубыми глазами он смотрел Лине вслед, когда она со своего двора, стоявшего на отшибе, шла воскресным днем в церковь. Она всегда ловила на себе этот взгляд, думая — надо бы рассердиться, но сердце ее колотилось от бешеной радости. Они изредка перекидывались словом, ой, думала Лина — всю жизнь бы вот так с ним говорить. Но раз не судьба... У молодого рыбака была лишь ветхая покосившаяся хибара и три сестры, что же он мог принести с собой в новую семью? А Лина у отца единственная, два брата умерли маленькими, в «Лайнтах» достаток, «Лайнты» могли прокормить человека, но голяков здесь не жаловали.

Так оно видно и должно быть, грустно думала Лина. Куда ни глянь, одно везде и видишь — богатый женится на богатой, по

крайней мере зажиточной, а бедняку остается приглядывать себе беднячку. Все это как нельзя лучше сознавая, Лина старалась и уголком глаза больше не косить в церкви на голубоглазого Екаба. А он и не выставлялся, он был парень скромный.

В поселке быстро разнеслось, что Лина выходит за Карла. То есть Карл женится на Лине, или чтобы уж совсем точно — родители их женят. Карл тоже был высокого роста, темный, темноволосый и темноглазый и с темным, словно из-под старой ели идущим взглядом, Лина перед ним слегка робела, но не очень. Что там она, пока в девках ходила, могла знать и представлять, как оно будет, когда с нее девичий веночек снимут. До этого казалось еще так далеко, как от начавшегося лета до осени — ничто в природе ее не предвещало.

Однажды Лина, возвращаясь из поселка, встретила Екаба. С ним был недоуздок, коня что ли пустил на выпас. Или так просто в руках оказался. Остановились на лесной дороге, дорога пустынная, ни души, и можно свободно поговорить.

Только ни тот, ни другой не знали о чем говорить.

— Ты был сегодня в море? — спросила Лина.

— Мы были.

— И что-нибудь поймали?

— Мало, — вздохнул Екаб.

— Да...

— Если бы мне сеть получше...

— Да, больше бы ловилось.

На минуту они замечались, как бы оно было, как бы могло быть. Будь у Екаба такие сети, как ни у кого в поселке. И новая лодка. И... и если бы он каждый день привозил домой намного больше рыбы, чем другие. Тогда бы он заработал денег и мог прийти к ее отцу с матерью, и как знать, может быть он им показался бы самым завидным женихом.

Но это было бы просто чудом, а чудес в рыбацьем поселке не случалось. И Екаб как был нищим, так и остался, и Лина выйдет за Карла.

— Осенью ты уже будешь замужней, — медленно выговорил Екаб, и Лина покраснела до корней волос, будто при ней помянули что-то неприличное.

— Чему быть, того не миновать, — наконец ответила она: пускай парень не думает, что она сама не своя от счастья.

— Я так иногда мечтал, если бы мы с тобой могли... — вымолвил он, не глядя на Лину.

— Не можем мы, Екаб, — сказала Лина и подняла взгляд на печального парня. — Не судьба нам.

— Не судьба, — согласился Екаб.

Вот они и поговорили, и Екаб посторонился, дал ей дорогу — дорога здесь, правда, широкая, но парень все равно дал девушке дорогу.

И осенью, да, осенью была свадьба, в «Лайнтах» была свадьба. Пригласили чуть ли не весь поселок, так полагается, но не при-

гласили Екаба, и это тоже так полагается. Люди бы удивились, если бы было иначе.

Лина боялась свадебной ночи. Она знала — ночь придет, куда ж денешься, и только просила-молила время — не спешить, протянуться, она старалась танцевать каждый танец, чтобы женщины не взяли слишком рано надевать ей повойник. Карл был танцор неважный, да он вовсе и не старался. Массивный и хмурый, он топтался на глиняном полу, Лина прямо тонула в его руках, и хватка этих рук была тесной до боли.

— Ты меня не жми! — сказала Лина.

Он что-то пробурчал и хватку не ослабил.

— Карл, ты наступаешь мне на ноги! — пыталась жеманиться Лина. — Прямо как медведь!

— Мы так привычны, — отвечал Карл и стал кружить ее в обратную сторону, они налетели на другую пару, та — на третью, вальс расстроился, танцоры оглядывались — кто ж виноват? Виновного не было. Они начали сначала.

— Я больше не хочу, — сказала Лина, и Карл тут же отвел ее на место, а сам подошел к столу, на котором стояла уже вторая перемена, там хватало и соленого и сладкого, и горького тоже — мужчинам прополоскать горло. Карл не прополаскивал горло, он пил. В этот вечер он пил много, и хозяин «Лайнтов» с хозяйкой переглянулись. С этой стороны они зятя еще не знали. Им стало боязно — а знают ли они его вообще хоть с какой-то стороны. Свою родню он даже на свадьбу не позвал. Богатая она? По слухам — да. Хозяин ездил в Карлову усадьбу, ничего там толком не понять, дом большой, но старый, того и гляди развалится. Отец Карла плакался, что не может пока выплатить сыновью долю, два года хлеб родил худо и к тому еще дочь на выданье. За Карлом, по правде говоря, не надо бы давать и столько, ведь он всем работникам работник, он может озолотить «Лайнты».

И Лайнт сдался на уговоры, он воротился с пустыми руками, с легкой ношей обещаний — и только, он думал — как-нибудь уладится. На весь поселок раззвонили, какой у Лины жених знатный, а теперь что — от своих слов отказаться, идти на непятный? Авось дадут деньжат-то.

Только бы Карл не пил!

Лину снова пригласили на танец, пригласил не Екаб, ведь Екаба на свадьбе не было, ему нельзя и подойти близко; недавно, когда за окном собрались незваные гости и стали по обычаю требовать угощения, никто среди них Екаба не заметил. И все же Лина уверена, что Екаб где-то неподалеку, возможно стоит сейчас в излучке леса и смотрит, как Лайнтова усадьба светится радостными огнями, возможно он один знает, что огни эти совсем не такие радостные. Лина поднялась и вновь пошла танцевать, но не успела сделать по горнице и круга, как подошел Карл и сказал своей молодой жене:

— Ты больше плясать не будешь.

— Как это так? — растерянно спросила Лина, ее теперешний партнер был так себе, не очень, и все же это лучше, чем глядеть на Карла, темного и хмурого, как лес перед грозой... — Почему? Я хочу танцевать!

— Сама давеча сказала, что больше не хочешь. — И потащил за собой молодую жену, и те, кто был тому свидетель, подумали — Лине попался любящий муж.

Она села за стол и смотрела на полные тарелки, налитые рюмки, свадьбу закатали на славу, тут и злые языки примолкнут. Ешьте и пейте еще три дня, всего хватит. И музыканты играть будут, только пляшите!

Пляшите... Карл ей не позволил.

— Он тебя здорово любит, — шепнула ей на ухо подружка, девица с соседнего хутора. Лина отчужденно на нее взглянула. Любит? Наверное да... — Надо же какой ревнивый!

Лина покачала головой, что могло означать согласие, а могло означать и сомнение. Карл совал ей в руку стопку, Лина увернулась, и содержимое стопки красно плеснуло на стол. Она смотрела, как вино впитывалось в белую скатерть, и думала, что придется стирать. Много будет грязной посуды и грязного белья после свадьбы.

Старые хозяева вовсе не думали отдавать Карлу бразды правления — к тому же их облапошили с Карловой долей наследства. Они совсем не были так стары, они еще могли похозяйствовать. И так они зяту и сказали.

Карл сделался мрачным. Он не поднял глаз на родителей жены, он усталился в глиняный пол себе под ноги и пробурчал быстро и нетерпеливо:

— Что же мне — ждать до вашего смертного часа?

Хозяйка вздрогнула, она — женщина ведь — была характером мягче и плохо переносила распри, во всяком случае как могла их избегала. Но хозяин отрезал твердо:

— Ты за себя взял нашу дочь, а не хутор. И хутор мы откажем дочери, и будет это либо после нашей смерти, либо когда ты своей хорошей работой и послушаньем докажешь, что достоин хозяйничать в «Лайнтах».

Карл зло засмеялся, смех больше походил на лай, он, видно, собирался еще что-то сказать, но потом раздумал, махнул рукой и вразвалку вышел из дому. У него была странная такая походка, как будто бы он всю жизнь только и делал, что лазил по бурелому, взбирался на хребты дюн и тяжело брел по болотным низинам; он совсем не умел ходить как жители равнин.

В доме настала тишина.

— Обиделся, — проговорила мать.

— Сам нос задирает, на рожон лезет, — сказал хозяин и вынул из кармана трубку. Но взять кисет позабыл, сидел с пустой холодной трубкой и смотрел в стену.

— Лине с ним будет нелегко, — снова сказала мать.

— А ты видала, как он работает? Как зверь! — отвечал хозяин, не найдя что еще сказать. — А разве работа не самое главное? Медвежья у него сила. Такой всю нашу землицу вверх дном перевернет.

— Пусть переворачивает, пусть, — вздохнула мать. Ей тоже сказать было больше нечего. Она прекрасно видела, как мало радости у дочери в глазах. Ведь это еще самое начало, какой-то месяц всего и прожили, весь век еще впереди. Стерпится, слюбится, проживут жизнь. Как все, как все. Тут в поселке люди коли сходятся, то уж навсегда. Иначе нельзя.

Ничего тут не поделаешь, это понимала и Лина. Может быть, она обманулась и оттого глаза у нее грустные? Но тогда надо прежде спросить, чего она от замужества ждала. А ждать она не ждала ничего. Она приняла Карла, как принимают неизбежность. Так за нее решили, и никто, ни один человек не спрашивал ее согласия. Ей было только стыдно что ли, страшно что ли ненароком повстречаться с Екабом, и по счастью этого не случилось. Особенно она стеснялась в последние месяцы беременности. Мать считала, что Лина прячется слишком. Что же это позор разве, в девках что ли она принесет ребенка? Да нет, она дочь Лайнтов, а дитя, которое она носит под сердцем, со временем будет наследником «Лайнтов», если родится мальчик. И что молодая женщина ждет ребенка через год после свадьбы — этим впору гордиться, всякому завистнику видно, что с этой свадьбой и в этом доме все честь-честью.

Ребенок родился, то был мальчик, и нарекли его Юрием. Он теперь и будет наследником «Лайнтов» — объявил хозяин.

Карлу не нравилось, когда на крестинах и домашние и гости говорили про лежавшего крикуна так, словно тому стоит только подняться — и пойдет хозяйничать в «Лайнтах». А кто же здесь в таком случае он, Карл? Так только, промежуточное звено, может быть средство для «Лайнтов» обзавестись новым хозяином? Он сам понимал, что мысли эти глупые, чувства глупые, но он не мог иначе, стоило ему кинуть взгляд на младенца в зыбке, как в нем закипал, набухал бешеный гнев, он сам чувствовал — на лицо его находит черная туча, что совсем не пристало в такой праздничный день. Он хотел улыбнуться ребенку, которого Лина вынула из люльки и легонько качала на руках, и чувствовал, чувствовал вновь, что улыбки нет, есть кривая усмешка. Он круто повернулся и вышел, нет — выбежал вон, и это выглядело так же глупо. Он пошел к дровокольне и сел на чурбак, весь в глубоких бесчисленных рубцах от топора, и подумал — что если бы чурбак в самом деле чувствовал все эти раны и если бы они болели. И можно ли такую боль терпеть.

Человеку — нет, продолжал он размышлять. Дереву — может быть. Дереву — наверное. И если боль в этом мире неизбежна, то не лучше ли прийти в этот мир деревом? Он увидел мысленно новорожденного в зыбке. Какая боль ему

уготована? Сперва неосознанная — резь в животе и боль в деснах, когда пойдут зубы, а потом порки, без них не обойтись, ни один малец без порки не вырос, во всяком случае Карл таких не знает — ну а потом школа, пастьба, не обойдется ведь без того, чтобы скотина забрела на чужой луг и за это его тоже будут драть... А потом... Нет, про потом Карл не хотел думать, ему было страшно.

Карл силится вырваться из круга своих мыслей, пытается вслушаться, как на крестинах в доме заливаются скрипка. Там собирались танцевать. Ему тоже бы надо пойти, пригласить Лину. Он вспомнил, что на свадьбе Лина попрекнула его за неловкость. Что из того, что он не умеет прыгать как кузнечик. Он и не хочет. А попиликовать на скрипке Карл немножко умеет и сам.

В двери дома стоит Лина и смотрит сюда, на дровокольную. Наверное, уж долго смотрит. Любит ли он Лину? Любит ли она его? Странно, он об этом не думал, и никто, ни один парень из бывших друзей его об этом не спрашивал. Любить жену... разве это нужно?

Лина стоит и ждет, она не зовет Карла. Наконец он подымается сам, сколько же будешь сидеть, и идет, чего ему собственно сидеть? Даже если он не прыгает вместе со всеми, кружку пива-то он может выпить в свое удовольствие. Вместе со всеми, а то и один. А тот, что там вякает в люльке, долго еще не будет хозяином в «Лайнтах», да и старики не заживутся.

— Идем, — говорит он жене даже весело, и жена от удивления глаза тарачит. Да ведь он приветлив, а Лина побоялась мужа окликнуть... — Ты небось хочешь танцевать?

Лина кивает.

— В доме такой шум, — говорит она, — а малыш спит себе сладко.

Карл обнимает жену за талию. Теперь он совсем осознал, что Лина — его жена, и громко засмеялся.

— Что ты смеешься?

— Муж в семье голова и может делать с женой что хочет, — говорит Карл. — Если б я вздумал сейчас тебя ударить...

Лина смотрит на него большими глазами.

— Не бойся, не ударю, — говорит Карл, — только ты должна меня слушаться во всем... Будешь слушаться?

Лина кивает.

— И если я тебе сейчас скажу: не танцуй, так ты и не танцуй! Никогда в жизни! Слышишь? Ну скажи — не буду!

Губы ее приоткрылись, но не проронили ни слова.

— Говори! Почему ты не говоришь? Не боишься мужнина гнева? Я тебя могу скрутить, как... — он огляделся вокруг, — как эту веревку могу тебя...

Он бросил веревку наземь и засмеялся еще громче.

— Боишься? Это хорошо, что жена боится мужа! Но сейчас не надо, сейчас крестины и я добрый, и мы пойдем танцевать... Танцевать будешь только со мной, поняла?

Он в упор смотрит на Лину.

— Я и сегодня тоже... ни с кем... пока ты на дворе, — шептала Лина, и Карл снова обнял жену за талию. Потом они пошли танцевать, Карл несколько раз чувствительно наступил ей на ногу, и все не случайно, уголки ее рта болезненно вздрагивали, но она не сказала ни слова. Ну вот, так и надо.

А время шло.

Еще год спустя у Лины родилась двойня, девочка и мальчик, девочку назвали Анной, а мальчика Яном. Екаб сразу после Лининой свадьбы ушел в плавание, в дальние моря. Лина об этом слышала, ей это было безразлично. Так уж повелось — люди уходили из поселка, одни потом возвращались, другие нет. Какое ей до этого дело? У нее «Лайнты», у нее муж и дети, у нее еще будут дети.

Но в «Лайнтах» не все шло гладко.

Хозяин прохворал полгода, врач не давал уж никакой надежды, и Лина замечала — Карл явно ждет отцовской смерти. Она и этому не очень удивлялась. Старики уходят, чтобы дать место молодым. Карл часто заходил в каморку, где кряхтя, с осунувшимся лицом лежал старый хозяин, теперь он действительно выглядел старым. Карл ничего не спрашивал, не заводил разговор — постоит, посмотрит и уйдет. Когда же бывало из каморки выйдет Лина, он всегда спросит:

— Ну как там?

Ей надоели мужнины вопросы и однажды она огрызнулась:

— Доктор я что ли?

Его лицо омрачилось, но Лина, видно, этого не заметила и немного погодя добавила:

— Жди, жди... Ты и дожدهшься, но нельзя ведь заживо толкать в яму!

Карл поморщился, но не ответил, и Лина продолжала:

— Соседи уж судачат, что ты смерти моего отца дождаться не можешь.

— Какое мне дело до соседей! — отрезал Карл, круто повернулся и ушел.

После этого разговора прошло с неделю, и приехавший врач объявил домашним, что опасность миновала, хозяин проживет еще десяток лет. Мать от радости заплакала, Лина же стояла с сухими глазами, и в глазах этих был и с трудом скрываемый страх. Она думала о Карле. Его как раз не было дома. Придет, спросит Лину, как отец. И когда она скажет...

Но говорить не пришлось. Карл сам встретил доктора на пороге. И случилось так, что Карл не пришел на обед и на ужин тоже. Лина уж стала тревожиться, но долго в неведении не осталась, соседка Клара, проходя мимо, сообщила, что муж ее в корчме и сидит развеселый.

В корчме? — думала Лина и сперва сказанному не поверила. Карл в корчму заходил редко. Там больше торчали, сидя за одной кружкой пива да за стопкой водки, полуопустившиеся

люди, те, кто, возвращаясь с моря, не в силах пройти мимо двери корчмы. Они платят деньгами или натурой, чтобы хоть какое-то время не думать о скудном улове и порванных сетях, чтобы... Печальные все это были мысли, которые гнали здешних мужчин в корчму, и за бутылкой или за чаркой иной раз им удавалось забыть горечь и тяготы жизни. А что там искать Карлу? В «Лайнтах» крепкое хозяйство, они меньше глядят на море, бывает, правда, что выйдет в море сам старик. Он посылал и Карла, но тот ходил неохотно, рыбацье дело ему не по душе. Но и возвращаясь с моря, Карл шел прямо домой: что ему особо убиваться, если улов невелик или совсем мал, для них море не единственный кормилец, у них есть пашня и луга, у них в хлеву целых пять коров.

Карл в корчме? Лина поглядела вслед уходящей Кларе, довольной тем, что свою весть сообщила. И пошла к матери.

Мать смотрела печально. Она хорошо обдумала каждое слово, прежде чем сказать дочери. И когда наконец сказала, это звучало так: не принимай близко к сердцу, если муж когда-то придет и не явится. Он работает как зверь — мать повторила слова, сказанные однажды отцом. Мужики ведь они такие, им нужно то, чего баба никогда не поймет, и хорошо что не поймет. Только не надо Карла ругать, когда он домой придет.

— Но ведь он же все это с досады, что отец выздоровел! — Лина думала, что открыла матери великую тайну.

Та махнула рукой.

— Разве я не вижу? Ясное дело, хозяином хочет быть хоть тут что. Мог бы отец отдать ему бразды, ну поправится — все равно какой он работник, помнишь, доктор сказал: проживет еще десяток лет, проживет, а насчет работы ни слова. Отец сам упрямый. Разве б вы оставили нас без куска хлеба, если б стали хозяйничать. Но отец не хочет. Что делать... — И она тяжело-тяжело вздохнула.

— Так что же делать? — эхом отозвалась Лина.

— Поживем — увидим, — отвечала мать. — Только я тебе скажу — не ворчи ты на Карла. Все мужчины пьют, и все женья терпят.

Лина взялась за прерванные дела, у нее сегодня сильно болела спина, она снова была в тягости, хотя маленький Юрик только нынешним летом пошел ножками, а близнецы еще целиком у нее на руках. Родится еще один, думала Лина без особой радости и не особенно горюя. Поживем — увидим.

Первый раз воротясь из корчмы, Карл конфузился. Лина его не корила, как и велела мать, отец про тот случай совсем не узнал, и мать притворилась тоже, что ничего не знает. Наутро за завтраком Карл был тихий и едва прикасался к еде, он пожалуй бы и вовсе не ел, но так не было заведено — не явиться на завтрак и пренебречь божьим даром. Он долго валял во рту каждый кусок, а потом пошел и пахал землю с такой лютой силой, как будто и впрямь хотел взвернуть все вверх дном. В обед.

из каморки к столу приплелся и отец; высохший, но жилистый, он сидел на своем месте, которое за время его болезни уже привык занимать Карл. Теперь Карл снова сидел на своем прежнем месте, и хотя там суп и хлеб имели такой же вкус, как и во главе стола, хотя Лина положила ему изрядный кусок мяса — как пахарю, как работнику — Карлу еда пришлась не по вкусу, он сидел уставившись в свою миску и ни разу никуда не косил глаз. В миске была трещина. Он глядел на трещину, точно впервые ее видел.

— А целой посуды нет в этом доме что ли? — вдруг рывкнул он зычно и толкнул миску так, что суп плеснул через край. — Человека надо кормить из человеческой посуды!

Все переглянулись, маленький Юрий тоже, который этой осенью впервые ел за столом, правда еще у матери на коленях.

— Я тут один вкалываю как раб, пока другие бока отлеживают! Так дайте же этому рабу хотя б как следует поесть!

— Карл! — заикнулась Лина, но муж оборвал:

— Что меня Карлом зовут, ты давно знаешь, а я тем более! Батраком хотите меня сделать? Так дайте этому батраку что он заработал!

— Это что за разговор? — Отец силился быть грозным, но голос после болезни дрожал.

— Я шел сюда в хозяева, а не в батраки!

— Хозяином будет Юрий, не ты! — просипел старик.

Тогда Карл поднялся и вышел вон. Лина кинулась было за ним.

— Никуда ты не пойдешь! — осадил ее отец. — Пускай бежит — споткнется. Что такое, пока я болел, все тут у вас пошло наперекос...

Есть больше не хотелось никому. Лина никак не могла дожидаться, пока кончится обед, и про себя молила — только бы Карл пошел в сарай, повалился в сено, только бы он снова не...

Редко бывают услышаны наши молитвы.

Карла стало тянуть в корчму, скоро это было известно всему поселку. Не каждый день, но как назло именно тогда, когда обойтись без него было всего труднее. Да, это делалось назло, в отместку за то, что ему отказывали в почетном звании хозяина, что его сажали в конце стола. И за то, что Лина не осмеливалась поднять голос в защиту прав своего мужа. После каждой такой размолвки в мозгу у Карла копилась вражда, казалось в груди у него сидит маленький зоркий писарь со старомодным гусиным пером за ухом — он внимательно слушал, прилежно записывал всякую обиду, каждую мелочь, которая с течением дней не забывалась, все разрасталась и бросала длинную темную тень на Карловы будни. И когда придет пора молотбы, когда заболит лошадь и дельный мужик в хозяйстве на вес золота, то оказывалось — Карл исчез, и все знали, где его искать, в корчме посреди поселка, за широким кабацким

столом, за которым Карл сидел и пил в счет новой ржи или овса, хотя они еще только набирали колос; корчмарь знал — долг будет заплачен. А дома Лина тихо плакала, качая в зыбке очередного ребенка. Ведь чего другого, а детей в «Лайнтах» хватало, дети рождались каждые полтора-два года, и предыдущий бывало еще не выучится ходить ножками, а в зыбке уже пицтит следующий, Лине грех было жаловаться, что нянчить некого.

Юрик уже стал большой, он иногда бегал до корчмы. Если влезть на большой рябиновый куст у двери, то можно заглянуть в высокие окна корчмы, и увидишь помещение внутри, озаренное скудным светом керосиновой лампы и отблеском огня в печи. Лица мужчин в нем выглядели красными, злыми, и над ними, склоненными над столом, точно полная луна сияла круглая физиономия корчмаря, он хозяйничал за своей стойкой, отрезая куски колбасы, вынимал из тонко сплетенной корзины черствые крендели и наливал прозрачную жидкость в маленькие медные стопки. Юрик давно знал, что эта прозрачная жидкость — водка, она мутит у дяденек разум, так что они уж не отличают свою жену от чужой и честь от бесчестья. Он сидел на кусте, как огромный грустный воробей, не в силах оторвать взгляд от корчмы, и хотя голосов не было слышно, он видел, как открываются-закрываются у дяденек рты, они были словно черные дыры и из них исходили неслышные слова. Временами Юрию думалось — жаль, что он не большой парень, а то бы он сидел теперь там, в тепле, ел колбасу с куском черствого кренделя и не пришлось бы ему заблудиться на рябиновом кусте. А в другой раз его детскую голову охватил страшный гнев, он готов был выбить в корчме все окна и вылить всю водку до капли.

Кончалось все тем, что, продрогнув до костей, он прямо-таки падал с куста и окоченелый плелся домой, почти не в силах пошевелить негнущимися руками и ногами. Он тихо забирался в логово, к младшим братцам, самый маленький хныкал в зыбке, и наверно он будет не последний. Работать, пить водку и делать детей Лайнт умел, разве этого недостаточно?

За печкой пели сверчки, в доме их было много, больше всего им нравилось ровное тепло, так же как бабушке, и она все жалась к лежанке. Юрик лежал с открытыми глазами, и она все слышно дыхание спящих, дом был как большой Ноев ковчег, полный живых тварей, и этот ковчег плыл сквозь ночную тьму неизвестности к новому утру, плыл, везя каждого жителя ковчега навстречу его судьбе, бабу и деда уже ждала тихая сухая могила, мать ждали снова роды и вечная страда в поле, и коровы, которых три раза в день доить надо, и плита — готовить еду всей семье... Неужели у матери правда столько дел? Юрий знал — он перебрал еще далеко не все. Ему стало матери жаль, но жалость его быстро прошла, все жены и матери тут, в поселке, живут так же. Он слышал дыхание своих братьев:

и сестер, у Янки опять заложен нос, всегда у него насморк или кашель, он ходит с красным носом и тянет соплю в себя... И Юрий стал думать об отце, который еще пил в корчме. Зачем он пьет? Завтра он злой с похмелья примется за работу, а может быть, и пойдет в море, да, отец не любит ходить в море, его настоящее место — земля, а не шаткая постель морских волн. Лодку он тащит на берег всегда свирепо, ткнет ее носом в песок, хотя потом самому же придется с песка сталкивать. Если дед умрет, то отец лодку наверняка продаст. Юрию лодку жалко, но жалко ли ему не жалко, в этом доме еще долго его не будут спрашивать.

Так они и шли день за днем, мать нянчила уже шестого ребенка. По ночам она привыкла часто просыпаться, плакал ли очередной ребенок или нет, но обыкновенно он в люльке копошился. После стольких родов Лина, однако, не расплылась, как обычно бывало с женщинами в поселке после второго же ребенка, она как будто наоборот стала подбористой, и откуда только у нее брались силы на такую прорву дел. Но когда надо, тебя не спрашивают — можешь ты или не можешь, тогда силы найдутся. Однажды ночью она ворочалась еще во сне, еще в дреме, но уже на грани бодрствования и видела сон: с той стороны, где море, сюда идет огонь, не гроза, а именно огонь, и жар бьет Лине в лицо, она хочет крикнуть и не может, во сне так бывает. Она заслоняет своим телом люльку, чтобы зной не ожег ребенка, ей самой уже опалило волосы. И поблизости ни капли воды, а огонь потрескивая подбирается все ближе и ближе, неужто от него нет спасенья? И в последний миг, как оно и бывает во сне, Лина проснулась, в доме было тихо, в доме было только жарко, не жарче, чем обыкновенно в летнее время.

«Вдруг этот сон не к добру, — подумала Лина, вслушиваясь в дыхание младенца, ребенок же в это время прямо на удивление спал спокойно, давая и матери роздых. — Вдруг не к добру?»

Не прошло и месяца — началась война.

Тех, кто жил в самом поселке, власти отправляли в тыл. У властей теперь было много забот — поля приказали скосить зеленые, а там, где хлеба уже колосились, те сжечь. И людям пришлось бежать, не ведая, где они преклонят голову.

«Лайнты» стоят в лесу, и семья в этой усадьбе осталась на месте.

Они остались на месте, но радости от этого было мало, поселок власти сожгли, просто жить не хочется, сказала Лина, такое кругом разорение. Так она сказала, однако жить продолжала, а отец с матерью, будто эти слова услышавши, один за другим взяли и умерли.

Старых Лайнтов похоронили, и теперь Карл мог сидеть во главе стола и чувствовать себя хозяином.

Отец оставил завещание не завещание, но исписанный такой лист оставил, где выражал свою последнюю волю, и эта воля была для Карла неблагоприятна. Но Лина ничего не сказала, и они оба делали вид, что про бумагу ничего не знают. Лине ведь жить с мужем, и лучше уж в каком-никаком согласии, чем в открытой вражде, которая наверняка бы вспыхнула, не держи Лина язык за зубами. И она держала, надеясь, что может быть теперь, оставшись единственным властелином, Карл опомнится и характер его переменится к лучшему. Сейчас, в войну, когда кругом такая тишина, он тоже стал точно немой. И зайти посидеть больше было некуда, корчма торчала посреди поселка полуразвалившаяся, хотели разрушить ее до основания, да стены оказались толстые, не поддались.

Неизвестно откуда идучи и куда направляясь, на перекрестье своих неведомых дорог забрел в «Лайнты» странный человек. Никто не мог бы сказать, сколько ему лет, не молодой уже и еще не старый, с большими глазами, как бы что-то вопрошавшими, что-то искавшими, с жидкими серыми космами, сухим, исхудалым лицом, с тощей котомкой за спиной — такой он явился однажды во двор «Лайнтов», и когда Лина, заметив его, показала в двери, первым не поздоровался, а пристально глядел на хозяйку, так что в конце концов она сочла своим долгом первой молвить слово.

Он не назвал себя странником, не стал рассказывать, куда держит путь и откуда, но когда он, как казалось, видом Лины остался доволен, то пошел прямо в дом, и Лина с невольным почтением — быть может то был страх, а может и оба чувства вместе — дала ему дорогу.

— Вы тут живете как в мертвом царстве, — проговорил он, — куда ни глянь, пустые усадьбы, пустые дороги. Как после Судного дня. И кладбище неухоженное.

— Если нету людей, кому же за кладбищем ухаживать.

— А ты не можешь? — неожиданно забранился пришелец. — Мертвых уважать надо, бог на все смотрит, бог все видит! Ты хоть знаешь, кто после смерти за твоей могилой ходить будет? Может, будет она голая, заброшенная, и твоя душа, глядя на нее, будет плакать кровавыми слезами.

Лина удивилась и сказала сердитому чужаку, указывая на трех своих детей, глазевших на незнакомого гостя:

— А они что же?..

— Дети реже всего смотрят за могилами своих родителей, — наставительно сказал незнакомец, и у Лины от его слов тяжесть легла на сердце. — Делай добро чужому, тогда можешь надеяться, что когда-то и чужой над тобой сжалится.

— Откуда же ему взяться? Уж не ты ли это будешь, странник?

— Если не я, то еще кто-то, другой, милость божья беспредельна, — произнес пришелец и сел за стол, с которого все было убрано после недавнего обеда, но на который ведь в

любой момент можно положить полкаравая хлеба и поставить миску с творогом, этого добра в «Лайнтах» еще было вдоволь.

Лина пошла и собрала на стол, и сама удивлялась, почему она это делает, и еще больше удивился Карл, когда, встав от полуденного сна, увидел за столом в доме незнакомого мужчину.

— Хе, — сказал Карл, — а ты здоров жрать.

Путник неторопливо оглядел Карла.

— Всякий хозяин дома должен радоваться, что может накормить странника. Он не знает и не может знать, кто такой этот странник и какое благословение он с собой несет, иному бывает и на весь век хватит.

Слушал Карл, и с ним слушали все, кто в то время был дома, паренек Юрий тоже, и Анна, которая также подросла, с большими серыми, в цвет моря глазами. Мать иногда смотрела на свою старшую дочь и думала — Анна может стать просто красавицей. Пока-то она еще ребенок. Дай бог чтобы эти войны наконец кончились, не то дети тут без людей вырастут дикарями.

Она несмело спросила пришельца:

— Ты идешь из дальней стороны... Про конец войны ничего не слышно?

— Мало еще испытаний людям послано, — отвечал незнакомец и тонко, резко засмеялся.

— Как это мало. Ну ты, странник, пустое мелешь, — горько возразила Лина. — И повыбило сколько народу, и несчастные беженцы... А мы чем лучше? Только что живые еще и не умираем с голоду. А дети растут как зверята, вырастут большие — так живого человека нет, не с кем словом перемолвиться...

Пришелец опять засмеялся. Лину прямо злость взяла.

— У вас у самих тут народу целая волость, — обратился он к Лайнту. — Как в старину, как в старину! Слышь, хозяин, ты и вправду богатый! У тебя одного отпрысков — не на семью... а на целое село, и ты им всем предводитель!

Карл поморщился. Ни к чему эта пустая болтовня.

— В давние времена, — продолжал незнакомец, он как будто уже насытился, — те кто жил тут, на берегу моря, были сами себе господа и начальники. Может, слышал?

— Ничего я не слышал.

— А говорят! Были такие времена — ни одного притеснителя, сами себе хозяева, и из своих же самый умный, самый храбрый предводителем... королем его тогда называли. Не вспомнишь?

— Это только в старых сказках...

— Тебе сейчас кажется сказкой, а оно было чистой правдой. Куда ж девались те, которые здесь раньше правили? Не может быть, чтобы они исчезли без следа. Ну не сами, а потомки. У тебя-то самого никогда в ушах не звучит, что говорили короли — твои предки?

— Не знай что городишь, — не сдержалась Лина, и Карл неожиданно бросил на нее темный, злой взгляд.

— Поищи-ка в старых сундуках. Если не королевскую корону, то кольцо какое-нибудь найдешь! — не унимался путник.

— Почему я? Почему мне?..

— Ты не из простого рода, — вполголоса продолжал незнакомец, долго смотрел на Лайнта и потом хитро, тонко засмеялся.

— Говорю тебе, королевская корона ей-богу бы тебе ой как пристала, — молвил он и отрезал себе еще ломоть хлеба.

Хозяин «Лайнтов» Карл качал головой. Хозяин? При этой мысли он, как бывало не раз, искоса взглянул на своего старшего сына, своего первенца, Юрия, который сидел на пороге и, обхватив руками колени, смотрел на пришельца. Но мыслями Лайнт был казалось далеко. Он знал о завещании, знал, что Лина им размахивать не станет, а все же мысль точила. И потому, когда Карл смотрел на своего старшего сына, его взгляд был хмурым.

Но листок бумаги еще не завещание. Хозяином в «Лайнтах» будет он, Карл, никто у него бразды из рук не вырвет, пускай старик хоть сто раз желал другого. Решает жизнь, а не те, кто в могилах, прибранных или неприбранных. Он зло усмехнулся.

— Что ты, хозяин, смеешься? — спросил пришелец и обтер об штаны руки.

— Над короной твоей королевской смеюсь, — отвечал Карл.

— Это ты зря. Твои глаза темные, твои глаза не видят, какой свет у тебя за спиной, как он тебя озаряет... Орава детей что вокруг тебя — они будут твои первые подданные и через них ты будешь возглашать не свою волю, а высшую...

— Ну прямо шут гороховый. — Карл хотел еще презрительно посмеяться, но голос пресекся.

— Сияния того ты еще не видишь. Тут нужны другие глаза.

— Какие? — не утерпел Карл.

— Глаза, которые видели вечность и в божественном сиянии побыли, — отвечал незнакомец и, сложив, сунул в карман нож. Он ел Лайнтовы дары, но резал своим ножом.

Поевши он стал читать «Отче наш» и читая взглянул на Лайнта, и произошло чудо — Карл тоже забормотал молитву. Лина смотрела и не верила своим глазам, она не знала, радоваться ей или печалиться, странник вошел к ним во двор смиренный и со словом божьим на устах, но что за этим словом кроется, ей неизвестно. Ее простая душа боялась неизвестного.

Когда незнакомец кончил молитву, Карл к нему подошел и почтительно спросил, не хочет ли гость почивать, ей-богу именно это слово он употребил, и пришелец не был удивлен, он огладил свою реденькую бороду и сказал: дорога была дальняя, тяжелая и если хозяин дома предлагает от души... Карл нагнул голову и сказал — именно так он мыслит, для него это была бы большая радость. И пришелец не отказал хозяину «Лайнтов»

в такой радости, радости никогда не бывает в избытке в этой юдоли слез и страданий. И гость спал на хозяйской супружеской кровати, и детям было строго-настрого запрещено шуметь, дети притихли, их и так охватило что-то непонятное, пугающее, а сердца их были маленькие и они сникли под гнетом неясного страха.

Только птицы на деревьях молчать не желали, птицы на деревьях и в бескрайнем воздушном пространстве, ворон с карканьем летал прямо над крышей дома, и ворона села на трубу и кричала пронзительно как нарочно, и когда Карл в ярости выбежал во двор — прогнать наглуую стерву, та полетела с ехидным смехом.

А где-то далеко, не счесть и верст, за синим лесом Курземского побережья, важные господа рассудили, что пожалуй воевать и хватит: опустели все закрома и не из чего больше течь рекам крови, так как иссякли их истоки.

Может быть, об этом каркал ворон и над этим смеялась ворона.

Три дня, целых три дня прожил путник в «Лайнтах», и Карл был бы согласен, чтобы эти дни растянулись в недели, однако больше гостю было недосуг, он заторопился, ему уж не по вкусу было самое лучшее, что по указанию мужа подавала на стол Лина. Гость сказал — он слышит зов, значит надо идти. Карл не стал спрашивать, откуда тот зов идет и куда он зовет. Впервые в жизни он чувствовал глубокое почтение к кому-то, кто так же, как он, ходит по земле... но как по-разному они ходят! Карла держит каждый комочек земли, его хутор и его семья, а тот, другой, он свободен, он властелин не только над собой, нет... Карл это чувствовал, но и над многими, как знать — быть может, над всеми. Неважно, что на нем ветхая одежда и котомка его совсем тощая, что у него, наверное, нет никакого документа: под конец он спросил, как выйти из лесов, чтобы не встретиться с солдатами или с другими носителями временной власти. Карл вопросу не удивился, было бы странно, если бы пришелец жил по законам этого ничтожного мира. Карл предложил себя в провожатые — довести путника до спокойного, надежного места, и, к великой его радости, это предложение было принято.

Они вышли ранним утром. Гость отказался пополнить свой запас, полковриги хлеба — единственное, что он сунул в грубый холщовый мешок, ведь хлеб ест король и нищий и есть хлеб может и пророк.

Они вышли, и на опушке леса гость обернулся и взмахом руки перекрестил «Лайнты», Карл был уверен, что с этой минуты ничто больше хутору не страшно — ни грозы, ни пожары.

Так они ушли, и только поздней ночью Карл воротился домой, одна Лина ждала, не ложилась и с опаской смотрела мужу в лицо, освещенное самодельной сальной свечой, другие свечильники в войну один за другим погасли, керосиновая лампа

второй год уж пылилась в шкафу, нечем было заправить ее круглый живот.

У Карла страшно горело лицо, и Лина спросила, не болит ли у него что-нибудь, и он ответил — ничего. Тогда Лина спросила, не хочет ли муж есть, и Карл сказал — с него довольно духовной пищи, которой оделил его незнакомый путник. Он странно улыбался и неожиданно обнял жену за талию. Лина была покорной женой, покорной своему долгу, иначе она бы не родила мужу столько детей; но сейчас по телу ее пробежала странная дрожь и она сказала — ведь уже поздно и Карл наверняка устал. Но хватка его не ослабла, и Лина подчинилась и пошла с ним на большую брачную кровать, которая ждала их, пряча в своих углах таинственные тени. В окно смотрела полная луна, в комнате было так светло, а в их привычной постели так темно. Сверчок трещал без устали, и Лина думала, вот муж и вернулся, и еще она думала, не кончится ли скоро война. Ей стало страшно жить почти одной тут в лесу — ведь за лесом, в поселке уже который год людей было не слышать.

Карл ломал ей руки. Лина тихо стонала.

Назавтра хозяин Лайнтов метался в сильном жару.

Лина Лайнт мыла у колодца ноги.

У нее были на редкость маленькие ноги, такие маленькие, что ей негодились ни одни деревянные башмаки, какие продавались в магазине Шмуловича. Лина как-то лавочнику сказала — в таких башмаках можно сломать себе шею... на что лавочник, тонко улыбаясь, отвечал — что поделаешь, его мастера шьют обувь для простых смертных, а не для заколдованных принцесс.

В этом, думала Лина, Анна, кажется, пошла в меня.

Но это ее не радовало. Это могло только означать, что и Анне всю жизнь придется топтать в чересчур больших башмаках.

Лина собиралась в церковь.

Она редко ходит в церковь. Лайнт не любит, когда из его дома отправляются в церковь. Не любит с тех пор, как он, поднявшись после болезни, стал слышать голоса людей из потустороннего мира, которые учили его по-новому вести дом, учили новым законам. С тех пор, как в Лайнте росло убеждение, внушенное ему тогда странником, что он и никто другой в этом дальнем приморском крае предназначен в правители и пастыри людям, с которыми не говорил и не будет говорить голос свыше. Карл Лайнт не делал тайны из своей избранности, он рассказывал о ней всем и каждому. Наконец-то снова было кому рассказывать, война ведь наконец кончилась, возвращались беженцы, это было печальное возвращение, кругом — заросшие бурьяном пепелища, и все же это было возвращение на родину. И как ни плохо они спали первые ночи — в поставленных на скорую руку палатках, вздыхая, что у цыган и тех ночлег лучше, никто не сетовал, что возвратился. Карл Лайнт к ним подходил, оделял вернувшихся беженцев ковригой.

хлеба, и они резали первые ломти со слезами благодарности. Пользуясь моментом, Лайнт к ним подсаживался и рассказывал, какая на него снизошла благодать — со своего смертного одра он поднялся совсем другим человеком. Карл не стеснялся помянуть свое прошлое, грозный взгляд бросал он в ту сторону, где в лесах из новых светлых досок стояла корчма и где сын бывшего корчмаря старался как можно быстрее привести в порядок свое наследство, свое имущество. Хозяин Лайнтов называл ее логовом сатаны, и мужья смотрели на него недоверчиво, с сомнением — кто же в поселке, проходя мимо корчмы, ни разу в нее не завернул? Раз корчмы строят, там должны быть и посетители. А жены говорили — давно они таких золотых слов не слыхали и с почтением, с уважением смотрели на хозяина Лайнтов, который отпустил бороду, в ней мелькали уже белые нити, окладистая и благообразная лежала она у него на груди.

Когда Лайнт заводил речь о королях в старые времена и нынешние и уверял, что он в себе чувствует силу и право стать королем, его слова уже не находили отклика ни у жен, ни у мужей. Они молчали, потом говорили, что побеседовали и довольно, пора за работу браться, сам-то собой дом не построишь. Лайнт чувствовал, что слушать его больше не хотят, он прощался и уходил с горечью в сердце — не из-за того, что отдал ковригу хлеба, а из-за равнодушия односельчан.

Карл Лайнт навещал каждого вернувшегося, видимо на что-то рассчитывая, и его хозяйке приходилось чаще обыкновенного печь хлеба, и беженцы с благодарностью поминали его ковриги. Пастор же скривился и стукнул кулаком по столу, узнав о Карловых проделках. В войну он в поселковую церковь не заходил, она стояла брошенная, пустая, хотя и не разрушенная, лишь кровля за это время пострадала да в бурю выбило несколько цветных стекол. Но вот прихожане вернулись, и пастырь снова стал о них печься. И в кубок радости по случаю встречи горькую каплю добавила весть о Карле Лайнте. Пастор наслышан был о таких людях, что толкуют библию по-своему, обыкновенно это шушера всякая, у них в голове не все дома, они бродяжничают, отвергнутые богом и людьми, и питаются подаянием. Но хозяин «Лайнтов» человек зажиточный, он действует с умом, сперва он даст людям кусок хлеба — утолить телесный голод, а потом уж говорит про божье слово и божью волю, их объясняет, и люди задумываются, смущенно слушают, кусая ломоть хлеба. Пастор велел позвать Лайнта к себе в дом, теперь уж приходится говорить в «дом», теперь уж не скажешь в «имение», «в пасторат», имение обкорнали со всех сторон, где пашню, где лужок отрезали... Ладно, пусть будет дом. Итак, пастор звал Карла сюда, он приготовил для него строгое, но отеческое внушение. Тот, кто хочет подняться выше всех, должен знать, что его место все же здесь, на земле, вместе с сотнями других, и он должен знать также, что посредником

между богом и людьми может быть только и единственно священник.

Но Карл не явился ни на первый зов, ни на второй, и смиренное сердце пастора закипело гневом, он даже аппетита лишился. Он велел запрячь лошадь и сам отправился к своему заблудшему на путях ереси прихожанину — по душам, отечески с ним побеседовать.

В «Лайнтах» навстречу ему выбежали две собаки, одна другой злее, они хватили лошадь за ноги, и кучер ругался, норовя хотя бы одну достать кнутом. Двор точно вымер, в окна промелькнули чьи-то лица. Тогда наконец — собаки уж совсем остервенели — из клетки вышел молодой парень, светловолосый, ладный, просто загляденье, и спросил, что гость... чего гостю... И священник ответил, что он пастырь этого прихода и желает говорить с хозяином.

Хозяина нету дома.

А где хозяин?

Этого он пастору говорить не велел.

Пастор смешался. Что это за разговор!

Так отец велел сказать, пояснил молодой парень.

Пастор сдержал свой гнев праведный и ответил — в таком случае он хочет говорить с хозяйкой.

Отец сказал — никому из их семьи с пастором говорить не о чем.

— Ну, а ты что же? — вырвалось у пастора, и он рассердился на себя за этот вопрос.

Ему просто поручили передать.

Парень повернулся и снова ушел в клеть, а пастор — коли хочешь, сиди во дворе в коляске и пусть тебя облаивают Лайнтовы собаки.

Когда до священника это дошло, он рывкнул на кучера «пошел!», и тот, только этого приказанья и дожидаясь, лихо повернул назад и так же лихо припустил со двора, собаки как оголтелые лаяли и тявкали вслед уезжавшим.

По дороге пастор, как и полагается, все взвесил, что слышал о хуторе и его обитателях, а чего он еще не слышал, то живым манером выложил кучеру, и его честь тоже немало была задета унижительным стоянием в Лайнтовом дворе, в осаде лающих собак.

— Детей у них восемь душ, — говорил кучер, повернувшись к пастору. Лошадь теперь шла шагом, никто никуда больше не спешил, а лошадь тем более.

— Ай-ай, и всех хочет вырастить безбожниками, — вздохнул пастор.

— Всех, — подтвердил кучер.

— Ну ничего, придут они в школу, тогда уж я сумею их наставить.

— Господин пастор, он детей в школу больше не пускает, — заметил кучер.

— Как — не пускает?

Дома они живут как в бочке, и притом заткнутой! Карл Лайнт сказал — его дети не нуждаются в таких знаниях, в такой мудрости, которую сам черт человеку на ухо нашептывает.

— Так, так, — кивал пастор.

— Чему сами родители еще перед войной выучились — это и все. Не знаю, умеет ли старший сын писать, но грамоту, я слышал, знает.

— Старший? Тот, который...

— Он самый, он самый, — сказал кучер. — Пока отец пропал в корчме, мальчишка одолел грамоту.

Пастор тяжело вздохнул. Он велел подстегнуть лошадь. Сейчас он ничего придумать не может. Но гнев в нем все нарастал. Гнев и на так называемую новую власть, которая позволила нищему сброду общипать пирог пасторской усадьбы, позволяет неверующим, буде они захотят, отвернуться от церкви и за это не наказывает. Ничего, ничего, думал пастор, на меня верующих хватит, но посмотрим, что вы сами будете делать, когда это зло навалится на вас как лев рыкающий. Враг за пограничной рекой Ритупе, так и глядит, стережет, и горе тому, кто его сил недооценивает, не полагается на меч веры, и главное — на ее власть.

Настроение у пастора было хуже некуда.

И вот Лина Лайнт собиралась в церковь.

Делать это она могла конечно только украдкой от мужа, и сегодня такой момент наконец настал, Карл взял под мышку свою Библию, он расставался с ней только идя за плугом или же на косьбе, а так черный томик всегда был у него под рукой. Карл не сказал, куда идет. Его пути, как и пути господни, были неисповедимы.

Хоть бы эти пути вели сегодня подальше от поселка, думала про себя Лина, надевая праздничную юбку.

Прислонившись к косяку, на нее смотрела Анна.

— Mam, ты в церковь?

Лина кивнула. Не раз говорила она старшей дочери, что хочет пойти к причастию. Да вечно вставало на пути какое-нибудь препятствие. И вот путь как будто свободен.

Часы уже пробили девять. Лина решила — она пойдет берегом моря; в случае если Карл будет возвращаться домой, он пойдет дорогой, лесом, у моря ему нечего делать.

Анна смотрела матери вслед. Мать такая щупленькая. Трудно ей со всеми делами справляться. Младшие девочки пока не помощницы. И Анну она жалеет. Всех жалеет. А кто жалеет мать?

Матерей, наверно, жалеть не положено, думала Анна.

В доме тихо. Младшие ребята на пастбище. Юрий... он пошел смотреть, где лесник отвел им делянку для заготовки дров. Юрий уже почти взрослый, в плечах правда узковат, но навер-

никак раздастся. Семья у них такая большая, что никогда не знаешь, все ли на месте или может быть кого нету. Не слишком ли семья большая, думалось иногда Анне, мать не успевает всех приласкать. А когда подрастут, тогда разве нужна ласка? И непохоже, чтобы братьям и сестрам ее недоставало, растут как деревья под солнцем. Одной Анне иногда кажется — что-то не так, надо бы по-другому, но как именно, она не знает.

Налетев с моря, над «Лайнтами» кружат чайки. Погода испортится, думает Анна. А сено еще не убрано. Можно б сегодня... да где там сегодня, в воскресенье! Этот день — день божий, его в «Лайнтах» блюдут свято, отец смотрит грозно, даже если девочки ходят по ягоды. С раннего утра всех созывают — отец читает вслух Библию, у него громкий голос и звучит всегда гневно. Долго отец на Библии не задерживается, ему не терпится говорить самому, своими огненными словами, и он говорит, домашние ничего не понимают, однако сидят покорно, потупив очи, и над ними огненной колесницей Ильи-пророка гремит отцова речь. Люди злы и греховны, и никто не хочет признать свой грех, праведники тоже должны быть готовы к тому, что господь может их покарать вместе с грешниками. Много ли там, в небесной вышине, можно разглядеть, кто на земле живет благонравно, а кто неблагонравно, если грехи человеческие смердят так, что зловоние доходит до золотисто-синего града, стоящего на небе. Бог являет свое милосердие и тогда, когда подымет свою карающую руку, и надо без ропота принимать все, что нисходит с его высей, будь то небесная роса или же туча с градом, которая втопчет в землю надежды пахаря... Отец говорит, по его лицу ходят гневные тучи, и слушатели еще ниже опускают головы, кара и возмездие, это они хорошо понимают, хоть и неясно за что. Отец-то наверное знает. Его борода, широкая как лопата, лежит на груди, а глаза давно уже разучились смотреть ласково. Насколько мать хрупкая и кроткая, настолько отец неприступен в своей суровости. Случись со мной какая-то беда, думает Анна, я никогда не могла бы пойти с ней к отцу.

Хорошо что с ней ничего не может случиться. Анна тихая и послушная, даже отец иногда называет ее своей настоящей дочерью и после проповеди позволяет ей положить Библию на почетное место. Анна прижмет тяжелую черную книгу к груди и несет, она страшно боится, как бы не разжались пальцы и священная ноша не упала на пол. Она не слабая, нет, но именно от этой ноши ее бьет дрожь.

Что сейчас делают люди в поселке? Ах да, они идут в церковь. Анна тоже охотно бы пошла. Не за тем, чтобы послушать божье слово, это слово отец им талдычит изо дня в день, уже надоело. Но там люди, много людей, веселые люди, там нет, не может быть такой тишины как в «Лайнтах», где даже петух поет как положено только три раза утром, а потом весь день что-то тихо бормочет в бороду своим женам. В поселке есть

школы, туда ходят все дети, учитель учит их всему, что знает сам, и когда ребята кончат школу, они станут такими же умными, как учитель, а другим и этого не довольно, они уезжают отсюда, в города они уезжают и учатся там, и тогда уж наверное знают все, что происходит на земле и, может быть, даже на небе.

Отец говорит, что знание — от лукавого и в конце концов людей губит. Он не хочет, чтобы его детей погубили, и потому никого из детей Лайнтов в школу не пускает.

Юрий умеет читать. Он научился еще до войны, когда разум отца еще не был ослеплен небесным светом. И Анна с другим братом тоже умеют, она даже пишет, хотя и коряво. Но книг у них в доме нет, читать Библию имеет право только отец, в Библии такие огненные слова, что несведущего, неумудренного могут в два счета превратить в горстку пепла.

А младшие дети не умеют ничего. Да они и не хотят ходить в школу, вот побаловаться с ребятами из поселка — это они бы хотели.

Что толку от их хотенья.

Широко раскрыв серые глаза, Анна смотрит вверх, в ясное небо, ей хочется увидеть, где же он, тот чудесный град, где находятся бог и его ангелы. Но разглядеть ничего не удастся, только глаза слезятся и приходится их снова обратить к земле. Так всегда. Анна смотрит и в ночное небо, звездное, и тогда, когда из края в край неба раскатывает в своем грозном величии громовержец, и в такую ясную погоду, как сейчас — все равно ничего не увидит, только небо со звездами или без звезд, с клубящимися грозowymi тучами или же чистое, словно промытое. Наверно, она недостойна видеть такие чудеса. А отец достоин, и потому Анна его боится и уважает, и потому отца ничего не спрашивает, а старается понять слова, которые он говорит, когда на него нисходит святой дух.

Много чего говорил отец и все больше — непонятное. Например, когда возвещает, что он король.

Анна смутно помнит посещение «Лайнтов» странником незадолго до конца войны, с чего и начались перемены в рассуждениях отца и в жизни всей их семьи. После болезни отец стал очень задумчив, часто стоял он прислонясь к изгороди или ни с того ни с сего останавливался среди двора и смотрел вдаль. Может, он раздумывал о том, куда могла деваться корона здешнего короля? Корона вещь важная, надень ее на голову — и даже недруг, даже неверующий будет звать тебя королем. Если бы удалось найти корону, люди ближней и дальней округи признали бы Лайнта своим властелином. Но короны нету. Анна думает: возможно, корона упала в море, а оно глубокое и даром не отдаст ничего. Вот если бы, рассуждает Анна, грянул настоящий, большой шторм, такой шторм вздымает недостижимые глубины, и что если в такой бездне лежит королевская корона? Мать обычно на такие речи горько вздыхает, она слишком

земная, она сама признавалась Анне, что из отцовых проповедей ничего не понимает, мать не верит ни в такую корону, ни в то, что корона могла бы украсить голову ее мужа.

Но тогда ты была бы королевой, сказала Анна.

А ты видела королеву, которая доит коров?

Да Анна не видела вообще ни одной королевы, но ей тоже не верилось, чтобы королева могла с подойником идти на скотный двор или же елозить на коленях, пропалывая грядку.

А была бы ты королевой, тебе не пришлось бы это делать!

Мать снова вздыхает и переводит разговор на другое, а когда Анна все же не отставала, мать сердилась и переставала отвечать.

Но когда-то ведь короли были.

Говорят, и сейчас еще где-то в дальних странах они есть.

Почему здесь, на их желтом песчаном побережье, не может быть королей? Будь она дочерью короля, думает Анна, она бы гуляла себе в белом шелковом платье и смотрела, как весной зацветают цветы и как осенью ветер гонит листья по блекло-серым полям. И у нее были бы красивые комнаты в королевском дворце, там всегда горели бы сотни свечей и было бы тепло как летом, так тепло, что откроешь окно — и тут же растают летящие мимо снежинки. И когда-нибудь по морю приплыл бы большой корабль, с него сошел бы молодой парень, черноволосый, голубоглазый, в красном шелковом плаще, он пришел бы с берега, ни у кого не спрашивая дороги, и прямо во дворец и, протянув к ней руки, спросил бы Анну, хочет ли она с ним уехать в его замок. И звонили бы бесчисленные колокола, и они бы поехали, и море было гладкое как зеркало — они словно не плыли бы по воде, а всходили на невидимую сияющую гору, где их ожидает замок, еще прекраснее того, что построил король, отец Анны, из рубленных при ущербной луне деревьев.

Своей мечтой Анна поделилась с Юрием, но он не пришел в восторг, он только спросил, верит ли она сама, что так может быть.

Что — насчет принца?

Брат покачал головой. Нет, не насчет принца. А что в отцовых словах есть какая-то правда.

Ну конечно, с полной уверенностью отвечала Анна.

Мне бы совсем не хотелось, чтобы отец был королем, сказал Юрий. Мне бы хотелось просто, чтобы мы жили как все люди — в поселке и вообще всюду, где живут люди.

Анне было жаль брата. Он не хотел понять самого главного. Если бы Лайнты были действительно королевского рода, то они и не могут, не должны жить как все остальные. Брат сомневался. Не может быть, думала Анна, чтобы отец не знал что говорит.

Сейчас в церкви звонят, и в эту минуту Анне, дочери короля, хочется быть вместе с людьми.

Младшие прибежали из леса, рты у них красные от земляничного сока и в ольховых корзинках — по две-три горсти дав-

лених ягод. Они столкнулись с отцом, он шел, зажав свою книгу под мышкой, и строго спросил детей: куда это годится — в воскресный день заниматься озорством. На окрик они ответили — не озорством, они ходили по ягоды, мать разрешила.

А где мать, спросил Лайнт, только сейчас заметив, что жена не выбежала ему навстречу.

Сестренка не знала, а брат знал, но ответил — мать ушла в поселок, в церковь.

Лина Лайнт неторопливо шла вдоль самой кромки воды и смотрела, как мелкие волны одна за другой выбегают на берег.

Лина шла и думала. Она была рада, что сегодня побудет в церкви, свидится с людьми из поселка, перекинется словом. Навязанное мужем одиночество давит ей на плечи, гнетет. Она не очень разговорчива, не очень общительна, и все же иной раз находит тоска по людям. Лина думает о том, что после проповеди надо будет зайти к пастору и поговорить. Раньше, когда ее родители еще были живы, Лайнты были у пастора на хорошем счету. Сейчас Лина не надеется на теплое отношение, пастор наверняка не забыл грубого, даже с издевкой приема в «Лайнтах». Но Лина в этом неповинна. Она это пастору скажет, она склонится перед его земной властью и будет просить совета, как смирить суровое сердце Карла, чтобы он разрешил своим детям встречаться с людьми и ходить в школу. Это хорошо, что наука о лесах и полях дается им между делом, без ученья, но ей хочется, чтобы юные Лайнты умели бегло читать книги и выводить на бумаге буквы. Может ли быть, что эта мудрость идет от лукавого — слово божье ведь тоже печатают такими буквами и в церковных книгах пастор пишет письменными.

У Лины тихая, смиренная душа, она охотно подчинялась сильному, но тогда он должен быть ее и умнее.

Король! Королева!

Она бросила короткий взгляд на свои натруженные руки. И грустно усмехнулась. Она снова вспомнила странника, после ухода которого Карл слег в постель, а когда выздоровел, то повсюду — в сундуках и ларях и в вечерней заре стал искать королевскую корону. И Библию стал читать беспрестанно и черпать в ней странные и, как Лине казалось, опасные мысли.

Она не хочет быть королевой — наверное, слишком долго она доила коров. И не хочет, чтобы королем стал Карл, гораздо приятнее было бы ей видеть, как он пашет в «Лайнтах» поля. И как ее дети идут в школу. Но дети слушают отцовы речи.

Карл уже давно не ходит в море, некому теперь его заставлять. Как началась война и немцы запретили, так он в лодку больше не ступал. Карл не любит море. Не оттого ли, что чувствует — море его сильнее. Рыболовную снасть распродал. Молодые Лайнты не смогут научиться рыбачить.

Лина остановилась и долго смотрела на сине-зеленый морской простор. Она вспомнила Екаба. Да, и Екаб вернулся в родные края с женой и сыном, говорят — уже большой парень, жена нездешняя, совсем из других мест, даже разговор у нее будто бы чудной, как же они с Екабом понимают друг друга?

Значит понимают, а то бы не сошлись. А то бы не жила эта чужачка с Екабом, первой любовью Лины. Нет, единственной любовью. Карла она не любит, Карла она боится.

Екаб, наверное, уже старый. Потому что старая, старой чувствует себя Лина.

Две чайки пролетели мимо Лины так близко, что поднятый их крыльями ветер прохладой обдул ей виски. Чайки, видимо, спешат, быть может и у птиц сегодня церковная служба?

Лина уже собиралась подняться на дюну, когда ее нагнал Карл.

Он цепко схватил жену за руку, и Лина с испугу и от боли слабо вскрикнула. Карл не только не выпустил ее руки, нет, взял и за другую, и вот он стоит, преграждая ей дорогу, и жарко дышит в лицо.

— Куда направилась?

— Богу помолиться, — отвечает Лина, борясь со страхом.

Глаза у Карла от злобы стали черными. Он же настрого запретил своим домашним ходить в поселок, не говоря уж о церкви.

— Богу мы молимся дома и истинными словами. А там под распятием проповедуют ложное учение!

— С каких это пор ты возомнил, что ты умнее пастора? — спросила Лина, прекрасно зная, что вызовет новую вспышку мужнина гнева. Долго копившееся в ее душе несогласие требовало выхода, заставляло перечить.

— Не тебе о том судить, — отвечал Карл, и Лина видела, что он со скрежетом сжимает зубы. — Ступай домой!

— Не пойду! — отозвалась она тонким, высоким голосом. — Мой отец и моя мать ходили в церковь.

— И умерли в заблуждении. Иди домой!

— Пусти! — шептала Лина, вовсе не надеясь вырваться из мертвой хватки его рук. Просто она не могла сдаться сейчас, когда она почувствовала себя молодой и свободной и слышала колокольный звон, который так звал, притягивал к себе ее измученную душу.

Карл усмехнулся. А, ну так еще лучше, больше удовольствия, чем если бы Лина покорно как овца позволила себя вести, не вести, а прямо-таки гнать домой. Настоящему воину тоже больше радости, когда враг сражается, а не сдается в плен.

— Жена да убьется своего мужа! — проговорил он сквозь зубы и заломил ей назад руки.

— Пусти!

— Ты будешь слушаться своего короля! — повторил Карл и всем корпусом надвинулся на нее, и он бы ее смял, если бы она не отступила. Но Лина еще не сдавалась, еще кричала:

— Какой ты король, примак ты в «Лайнтах», давно ли ты во всех канавах между хутором и корчмой валялся?

— Не смей язык распускать! — простонал Карл и вцепился жене в плечо, с треском рвалась ношенная льняная ткань, и Карл бросил наземь оторванные куски. Он удивился, какая у Лины еще молодая, упругая грудь, и он с особым удозольствием рванул на ней пояс юбки, отхватил от юбки полосу, та упала в белый песок — теперь ему незачем было жену держать, и так не побежит в церковь, на звоннице которой опять призывно загремел колокол. Одной богомолицы сегодня в церкви недо считаются, она стоит здесь, на берегу моря, и плачет от боли и обиды, и тут Карл одним ударом валит Лину на землю, поворачивается и уходит не оглядываясь — лежит ли она или поднимается, он знает, рано или поздно она поднимется и попытается как-нибудь прикрыть себя лохмотьями одежды и возвратится домой, в свои «Лайнты», к своему мужу и королю, и Карлу и королю жаль, что она ей-богу же недостойна носить корону королевы.

Карл Лайнт, король, удаляется широким шагом, слегка подавшись большим квадратным корпусом вперед, и ему навстречу тоже бегут чайки с тревожным криком, но он птичьего гвалта не замечает. Его занимают свои мысли, глубокие, важные мысли, иной раз он сам диву дается, как он до них смог додуматься. Столько лет он прожил, не ведая, не догадываясь о своем предназначении на земле. Тут Лина права, было время — он жил как в дурмане, пил в корчме. Но зато теперь, вкусивший истинного света, он будет строг к себе вдвойне, втройне и к другим, к своим и чужим, ко всем на свете, он готов проповедовать глухим, он готов кричать в глухие уши громовым голосом, да услышат они наконец да поймут! Ничего удивительного нет, что селяне не хотят видеть в нем того избранника, которому суждено раньше всех постичь божью мудрость. Они не верят, что выше их может стоять кто-то из их же среды, в такой же серой одежде, в картузе и постолах... И больше всего из-за этих маловеров Карл надевает черный пиджак и обувает сапоги, и Библию носит под мышкой, хотя знает наизусть все, чему способна его научить Библия, он сам уже теперь беседует с господом без посредников.

Заблудшая Лина, бедные, заблудшие люди, которые думают на других путях найти спасение души!

Поэтому он не пустит своих детей в школу, к другим детям, поэтому Лина не попала сегодня в церковь и не попадет никогда.

Карл знает — пастор жаловался светским властям, и не сегодня так завтра или через неделю в «Лайнты» явится кто-нибудь из чиновников и спросит...

Карл готов — пусть спрашивают, он жаждет отвечать, жаждет возвещать свою истину.

Они требуют, чтобы хозяин «Лайнтов» пустил своих детей в

школу — на то есть даже правительственный указ. И за его невыполнение придется платить штраф.

Пускай, хозяин «Лайнтов» заплатит штраф, и деньги на штраф заработают его дети, изо дня в день трудясь в поте лица.

Дома они не говорят о том, что произошло с матерью, чем кончился ее поход в церковь — только Анне мать сказала в душевой темноте хлеба:

— Отец меня догнал и турнул домой.

Анна была единственной из восьми живых детей «Лайнтов», которая по существу отца не боялась. Карл тоже Анну жаловал. Когда он иной раз окидывал своих детей взглядом, то Анна сияла надо всеми. Другие были обыкновенные, другие могли родиться под любой другой крышей в поселке. Ясный лоб Анны, казалось, действительно был достоин короны. Карл не терпел, когда дети его что-то спрашивали, докучали вопросами. Анне это было позволено. Он даже не рассердился, когда увидел однажды, что Анна листает его календарь: он висел на гвозде правда тут, в комнате, но подходить к нему имел право только отец. Другие дети получали такой нагоняй, что впредь держались от календаря подальше, а когда отец сам приказывал его принести, то тащили держа на отлете. Анна одна могла к отцу приласкаться, наверно она была и единственная, кого он иной раз гладил по волосам, и другие дети глядели тогда на нее как на чудо, не зная даже радоваться им или бояться.

Как видно, все та же привязанность к старшей дочери была причиной того, почему Лайнт Анне единственной разрешал ходить за покупками в сельский магазин, в лавку Шмуловича, где можно взять все необходимое, без чего действительно не обойтись. Когда в лавку шел не сам отец, то корзину брала Анна и отправлялась в поселок, и тогда много пар глаз смотрело ей вслед.

Анна входит в поселок. Осматривается по сторонам. Сколько же здесь домов! Люди строятся, обустраиваются, а за лавкой тянет кверху желтые стропила сарай, с ним надо торопиться, чтобы он успел принять осенний урожай. Навстречу ей попадают люди, и Анне кажется, их так много! Она спешит поздороваться, ответить на поклон, а то еще подумают, что дочь Лайнтов выросла дикаркой, среди медведей и волков. И в магазин она входит прямо упарившись.

В лавке ни души, нету даже Шмуловича, и Анна может перевести дух и собраться с мыслями. Здесь два окна, но одно Шмулович почему-то всегда держит закрытым, а когда спросят — со смехом отвечает: боится, что солнечный свет испортит его тонкие сукна. Есть тут, есть в этой лавке тюки тканей, на взгляд Анны все они очень тонкие, ей не верится, что может прийти время, когда и она в них будет одеваться. В «Лайнтах» носят дотомканую одежду.

Остро пахнет бочка с сельдью. Возможно это и не самый при-

ятный аромат, но здешние жители, которые с запахом рыбы родились и росли и, надо полагать, с ним и умрут, — неудобства от этого не чувствуют. Не мешает он и мешку с сахаром и ярким конфетам, которые лавочник правда держит в закрытых коробках. Грядями громоздится мыло, и синее в полоску, и чисто желтое, и красное, и розовое как заря. Анна знает, оно пахнет волшебнo. Дома они моются только стиральным мылом, а если сдохнет какая скотина, бог приберет, то варят мыло сами.

Анне кажется, что в лавке Шмуловича очень красиво.

Но вот появился и сам хозяин в синем халате, хлопотливый, улыбочивый, обходительный. Анна поздоровалась.

— Здравствуй, здравствуй, принцесса из лесного замка! — во всю физиономию улыбался Шмулович и даже как будто ей поклонился, девчонке, и это никак не походило на насмешку. Быть может, он поклонился цветущей красоте, у такой красоты и правда есть маленький невидимый нимб над головой. Но Анна покраснела, она сама не понимала, приятны ей слова лавочника или неприятны.

Шмулович всего лишь мелкий сельский лавочник, ему не суждено было разбогатеть. Но он был душой своей маленькой лавки; женщины в поселке знали — они могут прийти и выложить ему все свои горести, он внимательно выслушает и как раз в нужном месте покачает головой: ай-ай-ай! Хотя сердце его и обливалось кровью, Шмулович отпускал этим женщинам товар в долг, когда рыба в сети не шла, когда прошлогоднюю картошку всю съели, а молодая картошка в бороздах только еще завязалась, была с горох. В долг давал и корчмарь, сын старого корчмаря, старый сложил свои кости где-то в российских просторах, по-братски разделив участь с другими жителями поселка, кое-кто из которых тоже остался на чужом кладбище, а там, известное дело, и земля не та, и лежать не то что на своем погосте.

Лайнты в долг не брали. Земли в «Лайнтах» было довольно, хватало в семье и работников. С тех пор как отец не пил в корчме и ходил с Библией под мышкой, в поисках утерянной королевской короны, у них скопился даже какой-то денежный запас.

Анна сказала Шмуловичу, что ей нужно, и тот не торопясь брал с полок товар, взвешивал и завертывал в синюю толстую бумагу — хорошая бумага, даже селедочный рассол она не пропускала.

— И селедки, да, селедки, — вспомнила Анна.

— Почему твой отец больше не ходит в море? — спросил Шмулович. Всех молодых людей он звал на «ты». — Разве у него лодки нету или сетей?

— Сети он продал, — отвечала Анна. — И лодку с самой войны отец не чинил. Говорит, пойдет на дрова.

— Но зачем он продал сети? И почему не чинит лодку?

— Отец говорит... — Анна запнулась, отец как-то сказал — королю не пристало ходить в море вместе с простым народом,

ему назначены судьбой другие сети и другой ему искать улов... — Отец... не любит моря.

— Ой! — засмеялся Шмулович. — А я не люблю селедки, но я ее отпускаю! Потому что каждый должен жить. Твой отец что — не хочет жить?

Анна совсем смешалась и уставилась в истоптанный цементный пол. У самого порога лежала длинная соломина, и Анна перевела взгляд на нее. Она слышала, как лавочник говорил:

— Твой отец воображает, что он король, я знаю! Скажи — ну что он болтает такую ерунду?

— А если это не ерунда? — вопросом отвечала Анна, и щеки ее вспыхнули румянцем. — Раньше ведь были короли, почему же их не может быть теперь?

— Ты скажи спасибо, — совсем другим тоном заговорил Шмулович, — скажи спасибо, что нету больше господ и королей, жить стало повольнее, ай, я не говорю, что жить стало вольно, но от королей одна беда, от них — одно зло! И разве твой отец хочет зла?

Лавочник закончил, подняв кверху палец, и смотрел строго, наставительно.

— Нет, не хочет, — убежденно ответила Анна.

— Так пускай тогда не говорит, что желает быть королем. Ты знаешь, что есть для человека самое высокое звание?

Анна не знала.

— Просто человек. Но только добрый человек, честный человек, — продолжал Шмулович все более торжественным тоном. — Сейчас вот, когда я взвешивал тебе селедку и сахар, ты на весы вовсе не смотрела и я мог отвесить сколько бог на душу положит, но я этого не сделал, я отмерил полным весом, потому что я тоже хочу быть честным человеком!

— Но в Израиле тоже когда-то были короли, — неожиданно возразила Анна, и Шмулович ответил уважительно и с достоинством:

— То были великие короли и далеко простирались их земли...

И встретив горделивый взгляд девушки, закончил так:

— Но это было давно, так давно, что никто по-настоящему не помнит, было оно так или нет. А если бы и было, то сегодня память о них сытости в брюхе не прибавит, разве что греет сердце и его порой возвышает... но мир после этого кажется еще меньше, еще серее. Не думай о королях!

Так сказал Шмулович и, заключая разговор, снял крышку с круглого короба, в котором лежали конфеты в красных обертках, и протянул Анне целых две штуки.

Анна легким шагом направлялась домой. Поселок остался позади, дорога сейчас свернет в лес, сейчас Анна снова останется наедине с деревьями. Возможно отец прав, детям короля не по пути с простым народом. Она тихонько про себя напевала. И не спрашивала себя, счастлива она или несчастлива, она была просто спокойна.

Дорога вьется и течет безлюдная, в своем безлюдье такая привычная, но тут на дороге показывается человек, и у Анны встревоженно бьется сердце.

Человек приближается, и Анна видит, что у него черные волосы и такие чистые голубые глаза, что они невольно приковывают к себе взгляд. Анна не замечает, что она замедлила шаг и неотрывно смотрит на незнакомца, у нее даже во рту пересохло. Не таким ли должен быть ее принц, когда он за ней придет из-за моря?

Но принц не ходит в залатанной рубаше и притом босой, на нем должны быть сапожки с золотыми шпорами.

Значит, он все-таки не принц.

Когда они поравнялись, встречный поздоровался. Анна ответила чуть-чуть запинаясь. Выговор у него был не совсем такой, как у здешних.

Анна хотела остановиться, она так и сделала, однако встречный не остановился, прошел мимо. Анна обернулась, и лицо ее неожиданно залилось краской — незнакомец тоже повернул голову и смотрел, и взгляды их какое-то время не отпускали друг друга, они крепко-накрепко сцепились — так в гневе сцепляются враги, так в приливе чувств обнимаются друзья.

Анна возвратилась будто с порога другого мира, на котором стояла лишь мгновение, однако же успела там увидеть небывалое великолепие и великие чудеса.

И она заметила также, что на светлой лесной полянке, где она разминулась с незнакомцем, растет вереск, да, на одном кусте уже раскрылись цветы. Вереск, или подбрусничник, как называли его здесь люди, был знаком ей как нельзя лучше, но в тот миг, когда Анна оторвала от него одну веточку, она с удивлением заметила, как изящно, с каким тщанием, подвластным одной природе, создан каждый маленький цветок, и когда она поднесла веточку к лицу, то почувствовала, как они пахнут, действительно пахнут. Это было какое-то волшебство. До сих пор вереск никогда не имел запаха.

Смущенная, Анна не выпустила веточку из рук, она даже не заметила, что веточка у нее в руках; так и явилась в «Лайнты», принявшие ее холодно и настороженно, и потом Анна спрятала вереск в своем белье. Так мало мест у детей Лайнтов, которые они могли назвать действительно своими.

Временами, пока дни мелкими шажками двигались навстречу осени, Анна вспоминала о встрече на лесной дороге. Но вереск цвел уже до самого горизонта, и в трех пчелиных ульях в «Лайнтах» настала страдная пора.

Теперь, думала Анна, теперь я знаю, как пахнет вереск.

На сей раз двор «Лайнтов» отнюдь не был вымершим. Два старших сына пилили дрова, а Лина с Анной и другой дочерью Алмой стригли овец. Пора уж, надвигается осень, вереск цветает, а на овцах еще летняя шуба. Хозяин сам правда был в

доме, но теперь и он вышел, заслышав яростный лай собак. В «Лайнтах» два здоровых пса — один черный, другой рыжий, они вместе стерегли хутор и вместе ходили по девкам, и там, где появлялись Лайнтовы собаки, в тех усадьбах бобики долго вякали и зализывали рваные бока. Кое-кто собирался пальнуть по обоим зверям дробью. Но псы были ушлые, казалось — сам хозяин внушил им неприязнь к людям поселка, от которых те видимо ждали только зла и потому близко не подходили, исчезая как тени, одна — угрожающе темная, другая — обманчиво желтая, и охотник только разводил руками. Зато дома собаки свои права знали, сейчас они лаяли так, что Карлу пришлось в конце концов выйти, взять их за холки и пихнуть в свиную закуску, где они продолжали яриться.

— У вас не собаки а чистые звери, — обратился к хозяину посыльный.

— Таким и должен быть настоящий сторож.

— Кто же с ними может сладить?

— Сам же видел, что хозяин может.

— А если б хозяина не было дома?

— Тогда чужим в усадьбе нечего толочься, — вполне благодушно отвечал Карл. Собаки заливались в закутке, казалось — еще минута и дверь от их когтей и зубов разлетится в щепы. Посыльный качал головой. Они смотрели друг на друга, и наконец посланец вытащил из полевой сумки, в войну принадлежавшей немецкому офицеру, служебную бумагу.

— Это из волостного правления. От самого старшины.

— Так, так, — проговорил Карл. Посыльного он знал и мог заранее себе представить, что содержится в бумаге. Тем не менее спросил:

— И чего же старшина хочет?

Посыльный огляделся вокруг, сказал важно и осуждающе:

— Он хочет, чтобы твои дети ходили в школу. Все! Таков закон. А закон надо выполнять. Все подчиняются, вон какие богатые хозяева! А что ты, бедный рыбак, о себе возомнил?

— Бедный ли, богатый ли, ты мне в карман не заглядывал, — сразу же показал зубы Карл. — Притом я не рыбак, это ты намотай себе на ус. И дети — мои, я им голова. — Заметив, что подданные слушают, прикрикнул: — Работайте! Овцы сами стричься будут что ли и дрова пилиться? Вы меня слушайте, я про вас говорю, а другие говорят — уши развешивать нечего!

— Может быть, все-таки в школу пустит? — шепнула младшей сестренке Анна.

— Чего тебе тужить, ты читать умеешь, — отвечала Алма. — А научиться ой как трудно, правда?

Карл Лайнт тем временем ознакомился с содержанием бумаги — печатное ли, от руки ли писаное он читал без запинки.

— Ну? — спросил он посыльного, поскольку тот все еще стоял. Посыльный приехал на велосипеде, но из опасений оставил его снаружи у изгороди, где тот блестел на солнце спицами и обв

пильщика на него то и дело поглядывали. Велосипед в те годы был диковинкой.

— На вот распишись в получении, — спохватился посыльный и вытащил из той же сумки потертую прошнурованную книгу. Карл Лайнт презрительно на нее взглянул.

— Расписаться? За этот клочок бумажки?

— Это не клочок!

— Хе, сейчас от нее одни клочья останутся, — зло усмехнулся Карл и расхватил бумагу пополам, потом еще надвое и еще и клочьями помахал перед носом посыльного. — С собой возьмешь или оставишь мне?

Так как посыльный не ответил, Карл бросил клочки наземь, там они и валялись на зеленой траве в ромашках, и Анна думала: так я и знала. Так и должно было быть. Отец иначе не может. И в эту минуту и она, любимая дочь Карла, на отца злилась.

— Все это я в волости скажу, — пообещал посыльный, однако на угрожающие нотки в голосе не нажимал. Он же еще не вышел за ворота.

— Скажи, скажи!

— Послушай, хозяин, — пробовал подступиться посыльный, — ну зачем ты так? Почему ты не хочешь, чтобы твои дети учились? Все дети в волости учатся, разве что цыгане какие-нибудь, те бродяжничают, одни они... Что ж ты своих детей ставишь на одну доску с цыганами? Не хочешь, чтобы они были умные?

Карлов гнев улегся, в нем проснулось что-то вроде сочувствия к бедному должностному лицу.

— Эх ты, — сказал он, — умные... Есть две мудрости, одна — от бога, а другая от дьявола, и те светские мудрости, что проповедуют ваши учителя и пасторы, идут прямым ходом из преисподней, и пропащие те люди, которые их в свое сердце примут.

Посыльный почесал нос.

— Но есть такой закон, — сказал он, — и закону мы все должны подчиняться.

— Даже если все, то не я, и со мной мои дети тоже.

— Кто же ты такой, — удивился посыльный, — от каких-таких королей твой род?

— А я сам король, — произнес Карл спокойно, но с такой убежденностью, что посыльный не сразу нашелся что ответить.

— Да будет тебе, — в конце концов сказал он. — Нету сейчас на свете никаких королей, не болтай пустое!

Но Карл Лайнт выпрямился гордо, величаво, и никто из его подданных не возразил ни слова, и посыльный понял, что и ему сказать тут нечего; был один такой момент, когда ему, человеку этой земли зеленой, безропотно послушному закону, хотелось поверить, что хозяин Лайнтов возможно и в самом деле что-то вроде короля и сам пишет себе законы...

Следующий циркуляр, который каждую субботу разносили десятники, в отдельном пункте касался хозяина «Лайнтсв». Его вызывали в волостное правление.

Циркуляр принес Ульдрик, ближайший сосед Лайнтов с хутора «Яаки». В молодости он на судах плавал, долгие годы плавал, и вот молодость его позади.

Ульдрик высокий и тощий, ходит слегка враскачку, как ходят все старые бывалые моряки. Он так и остался неженатым, хотя в свое время возил домой много нарядных заморских платков; по крайней мере десятков девиц на побережье могли ими похвастать, как знать — может надели б еще и сейчас, если бы за это время не износили до дыр. А сам Ульдрик ведет тихую, спокойную жизнь в своих «Яаках», и дом его обиходит сестра, тоже одинокая. Ульдрик часто рыбачит, он не может без моря. Наверно, у каждого человека есть что-то, без чего он не может.

Ульдрик опасно подал Карлу бумагу.

— Мог и не приносить, — заявил Карл. — Я никуда не пойду.

— Ты только не рви! — воскликнул Ульдрик и быстрым движением забрал бумагу из рук у Карла. Всем уже было известно, как он прошлый раз обошелся с посыльным.

Карл не пытался заполучить бумагу. Неподвижным взглядом уставился он куда-то в пространство. Что он там видел? Тут все видят что-то такое, чего другим не видно, подумал старый мореплаватель Ульдрик, и так странно стало у него на душе.

— Слушай, — сказал он соседу. — Ну чего ты уперся? У всех дети ходят в школу, и ничего — людьми вырастают. Так что же ты...

— Я — король! — вскричал Карл так громко и нетерпеливо, что Ульдрик вздрогнул. — Что же я за король, если другим подчиняться буду?

— А ты все же подчинись, — произнес Ульдрик так мягко, как только позволяла его глотка. — Ты говоришь — король. Зачем тебе быть королем? У тебя большой хутор, хорошая жена и послушные дети и они тебя уважают... Так чего тебе еще надо?

— Ты ничего не понимаешь, — с досадой возразил Карл. — Все вы не понимаете. Человек должен знать, зачем он живет, иначе ему и жить незачем. Вот ты — зачем ты живешь?

— Я долго плавал, — стал объяснять Ульдрик. — Не каждый может долго плавать. И сейчас еще, не будь я старый... Стариков на суда брать не хотят. И правильно делают — что они, старики, на судах... Но я знаю, что я плавал! И ветры помню, и штормы, и как треснула мачта, и я еще думал: ну вот сейчас... но во мне ничуть не было страха!

Он твердо смотрел Карлу в глаза, не станет ли тот спорить. Однако тот слушал серьезно и так же серьезно отвечал:

— Вот видишь. У тебя море. Что бы ты был без моря? А у меня не было моря, и ничего другого... я только знаю, что я король, поколения передо мной, они не сознавали, а я знаю!

Там, в поселке, кое-кто наверное думает, что Карл дурак, пускай себе думают, когда-нибудь я докажу кто я такой.

— Но как ты... Сначала же ты был как все, и потом ты нисколько...

— Когда ты из темницы выходишь на свет, разве не такое у тебя чувство, словно ты только сейчас начинаешь все видеть и понимать?

Ульдрик смущенно теребил пальцами уголок циркуляра. Он не ответил.

— И вот теперь я прозрел. И я хочу, чтобы другие тоже. Сначала мои дети, а потом... Положи эту бумагу в карман и иди, Ульдрик, ты хороший человек, но ты бродишь в темноте. Моли бога, чтобы он вывел тебя из леса незнания на светлый луг истины. И тогда мы там будем с тобой вместе.

— Отец, — сказал потом, подойдя к Карлу, Юрий. — Они ведь будут приходить, не отстанут... Пусты младших в школу!

Карл молча смотрел на сына. Чем старше делался Юрий, тем более чужим казался. А близким не был никогда. Анна — да. Хотя она и женского сословия, а все же Карл любил, когда дочь к нему приласкается, что-нибудь ему расскажет, какие-нибудь пустяки из своей юной жизни. Ей иногда Карл поведавал о своих мечтах. Он же надеялся, упорно надеялся, что когда-нибудь все его признают. Карл еще не означил границ своего государства, но они ему рисовались далекими-далекими, быть может еще дальше тех мест, где ему самому когда-то приходилось бывать. Ведь если тот странник различил на Карловом лице черты властителя, неужто их не различит никто другой? Карл чувствует свое величие. А рядом стоит его сын и не чувствует ничего. И Карл с грустью думает, что он одинок. Жена — что жена! Ни одного родственника у него нету, родной его хутор в войну разрушен, его обитатели не вернулись. Может оно и хорошо, что так, что он один как дерево среди нивы? Были бы у него родственники, простые земляные черви, еще меньше доверия было бы к его особому положению.

Ради него он отказался бы даже от живых, самых близких родителей.

— Ты что — боишься? — спросил Карл сына, вспомнив его недавние слова и не стараясь скрыть презрения.

— Боюсь? — задумался Юрий. — Не знаю... но почему мы не живем как все?

Вот в том-то и дело. Как все! И это сказал его сын.

— Никогда! — отрезал Карл. — Потому что мы не такие как все. Разве ты не замечаешь, нисколько не замечаешь, что ты другой, не как те, в поселке? Они топчутся в своей грязи, дрожат — как бы не порвались их сети... по вечерам зарываются в свои норы и ничего им больше не надо, и во сне они видят все ту же сеть в чешуе и те же низкие крыши.

— У нас тоже низкие крыши, — сказал Юрий. — Я хотел бы

ходить в море и забрасывать сети, как все люди в поселке. Я такой же, как все.

— Мы не такие! И ты не будешь ходить в море на утлой лодчонке! Вот подожди, придет время, когда у меня будут корабли, они разнесут по миру мою славу и мое учение!

Карл Лайнт выпрямился и, казалось, стал выше ростом. Юрий смотрел на него с удивлением, недоумевая.

— Отец, — повторил он, — пусти младших в школу!

— Ты бестолочь, — тяжело бросил отец. — Ей-богу же ты не мой сын! На «вы» будешь теперь меня называть, и не открывай рта, пока тебя не спросят... и никогда не вздумай давать мне советы! Я сам знаю, что мне делать, и так и буду поступать, хотя бы вокруг меня была толпа одних слепых кротов!

Этот год был урожайный на клюкву.

Лина Лайнт продела на руку лукошко и позвала девочек. Была уже довольно поздняя осень, такой особенный день, когда воздух полон невидимой мглой и все ясные летом контуры становятся странно таинственными и неуловимы. Ни одно дерево, ни один куст не похож был больше на себя летнего. Трава по краю лесной дороги, острая осока, которую не щиплет корова и не берет коса косаря, поблекла и пожелтела, и полевица, между ней растущая, залипла мелким бисером тумана-росы. Они шли, порой на минутку останавливаясь — ободрать унизанную брусничкой гроздь и кинуть в рот прохладные, сладкие после заморозков ягоды. Кое-где мелькнет и гриб, но только младшие девочки, Алма с Мильдой, за ним нагнутся. Все они шли молча, за них говорили косяки перелетных птиц над головой или рядом в лесной глуши выбивал дробь дятел. Но даже если не слышится ни звука, все равно — можно слушать тишину.

Анна тишину не слушала, она думала. Она старалась держаться вровень с матерью, а малыши пускай себе бегут впереди.

— Слушай, мама, а в других странах есть короли и цари?

— Ты опять за свое.

— Но ведь есть?

— Пусть их будут, мне-то что, — буркнула мать.

— Почему же тогда у нас не могут быть?

Мать махнула рукой. Ей не нравились Аннины речи.

— Отец знает что говорит. И он сказал...

— Говорит, все говорит, а дети у него бегают как дикие зверята. Был бы жив старый учитель, он бы это дело так не оставил, — проговорила мать и, немного погодя, добавила. — И сейчас тоже власти не оставят. Трем старшим, вам скоро к пастору идти — перед конфирмацией... Придет время жениться, замуж выходить — кому вы такие нужны? Какая девка, какой парень на вас посмотрит?

Анна залилась краской, она вспомнила встречу в лесу, о которой не сказала никому, ни одной живой душе. У нее вошло

в привычку каждый день брать в руки веточку вереска, но потом заметила — с нее постепенно опадают цветики, да, даже мелкие зеленые листики не желали держаться. Анна с тоской спрятала веточку и больше ее не трогала, приходилось довольствоваться мыслью, что веточка где-то есть и принадлежит Анне, ей одной, так же как то чудесное, сладкое воспоминание.

— Хоть пускал бы вас к людям, — продолжала сетовать Лина. И Анна подумала, правда ведь, если бы она смела ходить в поселок чаще и побыть там, погостить у какой-нибудь девушки своих лет, она бы уж наверное не раз встретила того черноволосого и они бы перемолвились словечком, возможно разговаривали бы долго-долго и потом бы встретились наедине, у молодых людей ведь так водится. Как-то раз она даже у отца спросила, с кем могут встречаться королевские дети, но отец зло сверкнул глазами и не ответил, а спросить еще раз Анна не посмела. Она была любимой дочерью отца, но лишь до той минуты, пока ему не перечила.

— Мам, — заговорила Анна, на мать не глядя.

— Ну?

— Ты отца очень любила, когда вы поженились?

Мать споткнулась, и виной тому были не сосновые корни, которые заплели дорогу.

— Ты с чего это вдруг? — наконец опомнилась она.

— Я так... так просто.

Лина поняла — не так просто. Ее охватило странное чувство, какое, наверно, охватывает всякую женщину, когда она вдруг догадывается, что ее маленькая дочь уже не маленькая. Лина ответила не сразу. Не сбавляя шага, она думала, как ей ответить, легче всего конечно отрезать — о таких-де вещах молодым девицам говорить не пристало, и вообще... Но при всей неожиданности вопроса и смущении Лина испытывала и тихую радость оттого, что вот рядом с ней — другая женщина, с которой можно поделиться, и годы спустя в ней родилось желание говорить о том, что все это время было тщательно запрятано на дне сознания.

— Почему ты думаешь... Нет, ты в этом сомневаешься? Что я твоего отца любила?

— Я только спрашиваю, — сказала Анна.

— Мне кажется, редко кто выходит за человека, которого любит, — наконец проговорила мать.

Анна подняла на нее взгляд.

— Я смотрю, ты уже взрослая девица... Хочешь, чтобы с тобой говорили как со взрослой?

Анна горячо кивнула.

— По сердцу мне был совсем другой, — выговорила мать скрываемое годами, и на глаза ее — тоже годы спустя — навернулись слезы, ей самой чудным это казалось и на душе было так сладко.

— А-а! — воскликнула Анна, пораженная и словно с облегчением.

— Но отец с матерью хотели, чтобы я вышла за Карла, все думали — у него много денег, но ты же знаешь, что там получилось — хутор сгорел... и до того еще оказалось, что на усадьбе был большой долг. Только никто этого не знал. Возможно, если бы знали...

— Что бы тогда?

— А, ничего, — махнула рукой Лина. — Я не верю, что мне разрешили бы выйти за Екаба. Они бы нашли другого — побогаче. У Екаба всего и было-то две руки да старые сети.

— Екаб, — повторила про себя Анна. — Который... долгое время по морям плавал? Оттого он уехал и сюда не возвращался?

— Кто знает. Может быть да, а может и нет. Здесь ему все равно было не житье, на хлеб не заработаешь... — Лина переложила корзину с одной руки на другую и добавила:

— Но теперь он вернулся. И сын у него, немногим всего и моложе, чем сам он тогда был.

— И ты его очень любила?

— Теперь мне кажется, что да, — не стала отпираться Лина. И они шли вдвоем сквозь дышащий осенью лес, в низком соснячке показался белый мох и темная зелень багульника; даже сейчас, в такую сырую пору багульник как будто оведал их своим сильным дыханием. Но вот и болото, и мать остерегла Анну:

— Ходи аккуратней, а то сразу наберешь полные постолы.

— Они у меня и так уже мокрые! — сообщила Анна чуть ли не радостно. Счастливая молодость, которой могут доставить радость и мокрые ноги.

— Малышек покликай... Как бы не заблудились.

Анна звонким голосом окликнула младших сестренок, и ее чистый голос пронесся над вершинами кривых сосен и болотный черт, сидя на краю окнища, весело позавидовал:

— Золотая глотка у этих дочерей земли!

Нагнувшись к земле, она ловкими пальцами стала собирать первые красные и бурые, и совсем бледные, и темно-фиолетовые ягоды, какие они уродились в болотном царстве лешего.

Мать, собирая ягоды рядом, сказала:

— Мне хотелось бы как-нибудь поговорить с Екабом. Он небось полсвета объездил.

— А все же вернулся, — заметила Анна. — Я бы наверно, если бы вырвалась на волю, никогда бы сюда не вернулась.

— Кто тебя, такую пигалицу, на волю пустит, — посмеялась мать.

Она посмотрела на свою старшую дочь, Аннины пальцы так и мелькали в белом мху, срывая ягоды. Теперь уж сомнений не оставалось — Анна будет красавицей. Куда ей думать о себе

красотой? Счастья для своей дочери Лина не предвидела. Откуда ему тут, в лесной глуши, счастье взяться? А счастья для нее она бы хотела.

Дома одни их ждали, другие нет.

Юрий, например, ждал.

Отец Юрия не любит. Он правда равнодушен ко всем своим детям, иногда выказывал благосклонность только к Анне — ну а Юрия терпеть не может. Что бы Юрий ни сделал — все не так, за какую работу ни взялся — отец тут же ругать: что он, Юрий, безрукий что ли! А Юрий совсем не безрукий. Может он не такой быстрый, но зато уж что сделает, то переделывать никому не придется. А если когда о чем и замечается, то не было случая, чтобы он отца не послушался. Но от отца слышит одну ругань.

И Юрий тоже из всей семьи любит только одного человека — сестру Анну. С матерью он приветлив, но никогда не доверял ей ни свои ребячьи тайны в прошлом, ни теперешние свои мечты, когда стал молодым парнем. Из мальчишеского возраста он вышел как-то незаметно. Мать им много не занималась, сколько там ему было, когда родились двойняшки? А участь всех старших ребят в этом доме была такова, им приходилось отступать в тень перед младшими братьями и сестрами, и когда наконец у матери снова нашлось бы время за ними приглядывать, то там и приглядывать было особенно нечего, они умели уже не только ходить и говорить, но и могли за себя постоять. На глаза отцу Юрий старался не попадаться, ясно замечая, какую неприязнь испытывает к нему отец. В своих «Лайнтах» Карл был владыка и повелитель, и порой он думал — только благодаря ему дети появились на свет, так разве он не вправе распорядиться их жизнью? Карлу приходилось читать о правителях, которые велели убить своих жен и своих сыновей. Карл думал — он хорошо понимает этих правителей. Они поступали так, послушные высшей необходимости, возможно им вовсе не хотелось проливать кровь. Но когда нужно, они это делали, конечно не своими руками, они приказывали убить непослушных. Люди их осуждали, вполне возможно. Люди редко когда понимают королей. И никогда они не поймут, что король, приговаривая к смертной казни, страдает сильнее того, над кем совершается казнь. Карл сам король, он это понимает.

Отец шел по двору. Юрий сидел на пороге клетки и обстругивал для граблей зубья. Грабли надо с осени подготовить, чтобы летом — взял из-под стрехи и пошел на луг.

Юрий работал лозко. Но король это не радовало, наоборот — злило. Злился он, когда Юрий вместе со всеми вкалывал на лугу ли, на пашне; сын никогда не скажет, что ему тяжела работа, он, если надо, поднимется первый и ляжет последний, и никогда, никогда не слышал от отца он ни слова похвалы.

Почему? Королю самому это было ясно. Он злился оттого,

что в его старшем сыне не было ни на волос королевской гордости. А ведь он — наследник того невидимого трона, который Карл однажды видел в своем воображении, перед своим смущенным взором так близко, что и правда казалось — надо сделать всего один шаг, чтобы на него взойти. Тяжело королю, если не с кем поделиться своими мечтами. Нестерпимо, если рядом растет сын, который и знать ничего не хочет о короне, — ведь ему когда-то придется возложить ее на голову, но прежде надо ее найти и завоевать. Карл прошел мимо сына, презрительно фыркнув. Он решил — не Юрий наследует корону. Ведь он вправе отдать ее тому из своих детей, кто ему больше по душе. Пусть Юрий так и останется земляным червем, золотая корона короля побережья украсит светлые волосы Анны.

Юрий не знал отцовых мыслей и не старался их угадать, когда поднял голову и посмотрел отцу вслед. Он думал про Анну, как она там, в пустыне большого болота собирает ягоды клюквы — точно капли крови. Лето истекло кровью там, на большом клюквенном болоте, лето истекло кровью и умерло, и только болотные птицы жалобно кричат ему вслед, и как память о минувших днях на болоте еще горят каплями крови ягоды, и быстрые пальцы Анны собирают их в плетеную корзину. Юрий сплел сестре эту корзину, он плел много корзин — у него ловкие руки, но ни в одну не вложил он столько нежности и любви. У Анны одной есть ключик, которым можно открыть плотную дверь в сердце брата, и он рад и благодарен, когда видит этот ключик в руке Анны. Тогда на какое-то время отступает одиночество, существующее вокруг Юрия постоянно, и он не чувствует себя отверженным, тогда его не мучает отцова неприязнь, та отчужденность, какая царит вокруг всех детей Лайнтов, в то время как совсем близко живет и смеется, радуется и печалится целый поселок с молодежью и стариками, так близко, что тихим вечером оттуда слышится не только коровье мычанье, но даже и разговор. Когда рядом с Юрием звучит Аннин голос, Юрий не тоскует по морям и поселку, тогда ему ничего не надо, тогда он совсем счастлив.

А руки его тем временем в постоянном движении, и он думает — вот сейчас осень и дни серые, скучные, такие же, как его гнетущие мысли, но придет весна и вырастит на лугах траву и, когда его, Юрия, острая коса траву скосит, на этот луг придет с граблями Анна, и ей будет тогда легко и радостно грести сено.

И лицо его светлеет. А на затканном белой мглой болоте мать и Анна и маленькие сестренки собирают клюкву, по одной кладут они капли крови умершего лета в свои корзинки. И вокруг них на болоте и над ними в небе тишина, неужто все косяки птиц уже пролетели?

Той осенью на Михайлов день не попало им белой козы, а то бы ее, по народной примете, обвести вокруг камня — и на-

станет зима. Заморозки правда пали, однако поздно, и снег все грозился выпасть и не мог собраться. Лина была рада — коров можно дольше выпускать на волю, трава после косьбы сильно отросла, ниже по ручью так прямо колышется волнами. А два пастушонка, Мильда и Густ, все горюют по белой козе. Вновь подтвердилась вечная истина, что на всех не угодишь. Коровы с чавканьем щипали траву, а дети печалились. За лесом гомонили пастухи из поселка, вот где весело-то! Весело ли, нет ли, этого не знали ни Мильда ни Густ, но в этом уверены. Как бы то ни было, скучнее чем в «Лайнтах» не может быть. За лесом люди, разговор, там что-то происходит, там сосед с соседом встречается и дружит, ну ладно — иной раз и повздорит, но за ссорой опять следует примирение. А в «Лайнтах»? Стена леса перед глазами и другая, невидимая стена отгораживает их от всего мира, ее возвел отец и строго приказал не преступать. Мильда — та еще размечтается бывало здесь, на лугу, напридумывает всяких чудес про каждый куст и дерево, а Густ так не умеет.

— Слышь, когда я вырасту большой, я обязательно пойду в люди, — сказал он однажды сестренке, когда приятно так грело осеннее солнце и коровы смиренно ели.

— Как ты сказал — в люди? — Она посмотрела на брата.

— Уйду я отсюда, — повторил Густ.

— Куда же ты можешь уйти? Отец не пустит.

— Когда буду большой, никто меня не сможет не пустить.

— А отец? — повторила Мильда и от удивления глаза вытаращила.

Ее мысль работала просто — ты можешь вырасти хоть какой большой, отец всегда будет больше и могучей тебя, с ним так же как с тенью в предвечерний час: чем ниже опускается солнце, тем могучей и длиннее становится тень и вот уже она тянется через все поле. Отец может постареть, но могущества своего не утратит, в это Мильда свято верила.

— А я все равно уйду. — Густ правда не сдавался, но уверенность его пошатнулась. Мильда не ответила, они оба смотрели на ручей, который бежит к морю. Сейчас, осенью, и ручей набух и набрал силу. Откуда он бежит? Дети не знали. Густу хотелось бы идти навстречу течению, найти то место, то единственное место, где ручья еще нету, где он только зарождается. Такое место должно быть. Но кто его, Густа, пустит в такую дорогу? Он должен пасти коров. А зимой, когда коровы стоят в хлеву, куда он пойдет босиком? Хозяина «Лайнто» не заботит, чтобы зимой у детей была обувь. Зачем она нужна? В школу они не ходят и не пойдут.

Не пойдут?

Нет, наверное не пойдут. Так как...

Еще на прошлой неделе в «Лайнты» приходил учитель. Молодой человек и, наверное, для солидности надел очки. Солидней немножко от этого он казался, но молодость его все

равно проявлялась во всем. Он стоял во дворе «Лайнтов», так как посторонних здесь в дом не приглашали. И не приглашали, чтобы незваному гостю не взбрело в голову еще когда-нибудь посетить хутор. Карл пустил бы в дом только того единственного посетителя, который скрутил ему мозги на сторону, как в море закручивает корабль и тот идет совсем к другому берегу. Учитель стоял во дворе и говорил хозяину «Лайнтов», что нынешней осенью тот все-таки должен пустить детей в школу.

— Где же есть такой закон, что я должен посылать детей в школу?

— Есть закон! — вскинул голову учитель. — Он издан правительством и обязателен для всех.

Упоминания о правительстве Карл не выносил. Он давно для себя решил, что он сам себе и правительство и указ. Он зло засмеялся. И учитель пошел с негостеприимного Лайнтова двора, хотя он такой чистый, ровный и покрыт нежной травой с ромашкой как темно-зеленым сукном.

Забегая вперед, можно добавить, что в волостном правлении на учителеву жалобу мрачно пожали плечами. У волостного старшины сейчас была полна голова других забот. В этом краю стали взлетать на деревья красные флаги. С ними надо было бороться, и хозяин «Лайнтов» со своими фокусами ей-богу же был не самым опасным врагом.

— Давайте его оштрафуем, — сказал секретарь. Волостной старшина дал согласие, и Лайнт, презрительно скривив губы, штраф уплатил.

Когда холод загнал босоногих королевских детей в дом, отец сам посадил их за книгу и стал учить. И то была правильная книга, и правильные слова он говорил своим детям, и они слушали тихо и, надо думать, почтительно. Кого же еще им слушать? Лайнт единственный, слово которого они слышат, кругом лес, и лес тоже, когда стал звонким, мог доносить эхо речи только отца и короля.

Ранней весной по утрам, когда солнце еще только встает над зубцами леса, море, недавно освободившееся ото льда, лежит гладкое как зеркало, и тогда над этим зеркалом низко-низко летят возвратившиеся издалека птицы.

Карл Лайнт стоял и смотрел на птиц. Не пасхальное это было утро, раньше люди в такое утро выходили на дюны встречать прилетевших птиц, встречать новую весну, люди забыли это поверье, этот обычай, а хозяин «Лайнтов» был здесь, и взгляд его скользил по морю до самого горизонта; за горизонт никто еще взглядом не проникал, стоя на берегу моря. Иногда, правда, Карлу казалось, что он видит дальше. Он смотрел и думал о морских пучинах, где хранится драгоценная королевская корона. Зачем она ему? Он не знал. Его собственная вера и без того была твердой как скала. Он знал: будь у него такая ко-

рона, тогда поверили бы и другие люди. Всякий король нуждается в том, чтобы подданные ему верили, его боялись. Одно неверие и насмешки встречая на своем пути, Карл ожесточился, озлобился и еще больше утвердился в своих убеждениях. Когда ему становилось совсем тяжело, он шел к морю.

Так и сейчас.

Он не слышал, как подошла Анна. Шаги на песке ведь такие тихие. Он только почувствовал — рука дочери коснулась его руки.

— Я тоже пришла, — сказала она, и Карл, взглянув дочери в глаза, увидел в них светлое сияние и подумал — это может быть и блеск невидимой короны.

— Хорошо что пришла.

— Ты на птиц смотришь, отец?

— И на птиц, — ответил Карл.

— Как они находят путь домой! Мы из такой дали никогда бы не сумели.

— Если нам будет суждено, то сумеем.

— А разве все, что человек делает, ему суждено? — спросила Анна.

— Конечно все, — подтвердил отец.

— Все хорошее и все плохое? Даже если он украдет или убьет?

— Откуда у тебя такие мысли?

— Нет, ты мне скажи, отец.

— Да, плохое тоже, — после молчания произнес он. — Но тот, кто поступает плохо, не думает, что это плохо. Он думает, что именно так надо.

— Убить?

— Откуда у тебя, ребенка, такие мысли, — упрекнул отец и, еще раз взглянув на дочь, с удивлением понял, что она уже не ребенок. В памяти всплыли слова учителя — когда дети вырастут и что-то там еще такое...

— Анна, тебе ведь хорошо дома? — хотел он спросить мягко и думал, что так оно и получилось. Карл забыл, что голос его разучился звучать мягко, слишком он много в жизни приказывал, повелевал и запрещал. Анна робко подняла глаза и ответила то что отцу хотелось услышать:

— Ну конечно, мне хорошо!

— Я хочу, чтобы вам всем было хорошо, — сказал отец и задумался.

— Анна, ты веришь, что я король?

— А это нужно — быть королем?

Карл от удивления ответил не сразу. Ему никогда это не приходило в голову.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты же... раньше был такой как все? Разве тебе не было хорошо? Никто бы тебя здесь в поселке... — она хотела

сказать «не считает себя королем», но не осмелилась, и закончила: — так не делает...

Отец досадливо засмеялся.

— Я думал, моя дочь меня понимает.

— Но они все над тобой смеются.

— И ты, может быть, тоже смеешься? И потому мне не верить? Не веришь, да?

— Если бы я верила, — подняла задумчивый взгляд Анна, — что бы изменилось? Разве ты был бы счастлив? Разве ты был бы королем?

Карл хотел уж рассердиться, но тут ему подумалось, что Анна все-таки еще ребенок, а он с этим ребенком вздумал беседовать о высоких вещах. Недовольно передернувшись, он сказал:

— Да, ты в этом ничего не понимаешь.

Анне хотелось обнять отца за шею. Но нельзя. Короля Лайнта дети за шею не обнимали. Они стояли здесь, на морском берегу, стояли каждый сам по себе и думали каждый свою думу, и птицы летели над морем и летели, значит наконец-то пришла весна. Анна смотрела, она забыла их с отцом недавний разговор. Ей хотелось, чтобы эта весна была особенно прекрасной.

Хутор «Лайнты» не менял свое место на земле. Здесь он ставился, здесь стоял, постройки не могут уйти со своего места. Оставались и люди, кое-кто из них и желал бы перемен, но их не желал отец и король. Хутор и его обитатели отгородились от округи невидимой стеной, и все ощущали ее присутствие. Карл с мрачной радостью, Лина — как судьбу. И дети ходили в ее тени с опущенной головой. Юрий сказал — он, когда вырастет большой, уйдет к людям, он сказал это Анне, о том мечтали и младшие братья, не считая конечно самого младшего, тот мечтал — вот если бы не пасти коров; но пока ни один из них не был достаточно взрослый и смелый, и на всех них, длинная и темная, лежала тень отца и короля. Дети не могли вырваться из дома в школу, не могла вырваться из дома и мать, хотя ей очень хотелось помолиться богу и еще больше — поговорить с людьми. Иногда ей, погруженной в замкнутость усадьбы как в морскую бездну, начинало казаться, что большого мира вокруг «Лайнтов» и за ними вообще не существует. Может быть, они в самом деле одни на свете? Нет, это конечно вздор, звонкими вечерами долетали голоса из поселка, и когда Лина ходила на кладбище проведать своих покойников, она видела то одного, то другого старого знакомца, и ей так хотелось подойти, перекинуться словом, но редко когда хватало духа это сделать, чаще всего она убегала как вспугнутая птица. На кладбище Карл ее еще пускал, может быть памятуя слова странника-пророка насчет ухода за могилами. А может просто уже подумывал о тех днях, когда и сам здесь сложит свои тяжелые кости? И короли не бессмертны. Так что Лине разрешалось изредка хо-

дить с букетом цветов на сельское кладбище, которое окаймляли потрепанные ветром кривые сосны.

Той весной Анна с усердием ходила в лавку, никогда не надо было повторять ей дважды, она сама бегом бежала. Прилежная росла дочь в усадьбе Лайнтов, старшая. У Карла вновь звучали в ушах учительны слова, но он их в гневе от себя гнал. Анна еще ребенок, что же из того что ростом вышла. Ребенок — и все тут. Хотя и не вечно такой она будет, придет время — господь надоумит, и Карл будет ждать его слова.

Анна всегда замедляла шаг в том месте, где она в прошлом году бабьим летом встретила незнакомца. Где-то он теперь? Она смотрела по сторонам, кругом был только лес, такой как всегда, как везде, по соснам даже не скажешь, что сейчас весна, только дикий голубь с жаром пел свою короткую грустную песню, и Аннино сердце с ним вместе пело. Долгими зимними ночами она много думала о тогдашней встрече, и воспоминания оведал сладкий запах вереска, и вот настала новая весна, только Анна совсем-совсем одна. Она медленно ступала шаг за шагом, а вдруг, а вдруг... Но нет, она вышла на открытое место, дошла до лавки, и когда прозвенел звоночек, впуская в дверь Анну, навстречу ей в засаленном синем халате вышел Шмулович, голова его и борода с каждым разом как будто все больше седили. Анна сказала, что ей нужно, а нужны ей были всегда вещи простые и запасы лавки Шмуловича сполна могли ее спрос удовлетворить. Шмулович взвешивал, насыпал и резал, и заворачивал товар в синюю и в коричневую бумагу, и все время говорил, рассказывал, он не умел иначе, и ушей Анны касались чужие имена, чужие судьбы, и ей думалось: он наверняка сказал бы, кто тот незнакомец — если бы я его спросила. Но как спросить. И она продолжала слушать. В тесном, подслеповатом магазинчике на стенах две яркие рекламы, маленький мальчонка в большой кепке чистил огромный сапог, который блестел и сверкал, и блестело от удовольствия, это было ясно видно, и лицо мальчика. Счастливые же люди живут на свете! Зависти к ним Анна не чувствовала, все ведь не могут быть счастливы. И все же всерьез она не верила, что никогда, совсем никогда не будет счастлива. Она складывала покупки в корзину, которые хрупкие — сверху, на этот раз — стекло для лампы, поскольку старое стекло Густ с Вилисом, дурачась, разбили.

Анна прошла ту часть поселка, что лежит между лавкой и Лайнтовым лесом. Через пастбища, где зеленела уже тучная трава. И здесь тоже ничто не выдавало перенесенной бескормицы.

Он шел навстречу нежданно-негаданно, брел сквозь извняк, который был тоже в мелких зеленых листушках. У Анны сердце остановилось в груди, она это ощутила ясно, и только

не заметила, когда оно начало биться вновь. Он поздоровался, и Анна с удивлением отметила, что прекрасно помнит его голос с того единственного раза, по тому единственному слову. Сегодня тоже все кончится единственным словом? Что делать, как быть?

Она остановилась на него глядя, смотрел и он и думал: ну и раскрасавица дочка у Лайнтов, как дикая косуля...

— Ты идешь из поселка?

Она кивнула, и по лицу ее пошли розовые волны.

— Я думал — куда ты пропала, я ведь не знал, что ты живешь там, в лесу...

— А откуда теперь знаешь?

— Люди сказали. Я знаю, ты — дочь Лайнтов.

— А вот я не знаю, кто ты, — сказала Анна просто и смело. Ей очень хотелось узнать, откуда этот парень... теперь ей уже не грезилось, что он может быть принцем из дальних стран, те бы наверняка повели речь другую. Ей нравился его голос.

— Тут мы живем, в поселке, — ответил парень. — Отец из местных, только он долго здесь не был, но вот мы вернулись. Отец так говорит — вернулись. Я-то родился в другом краю. Но мне тут нравится, — добавил он.

Анна молчала.

— Тебе в поселке не нравится? — спросил он.

— Не знаю, — ответила Анна. — Мы ведь в поселке не живем.

— Да, вы в лесу... А что же вы ни к кому не ходите в поселок?

— У нас и у самих хорошо, — ответила Анна. Услышь ее слова отец, он бы обрадовался.

А тому, что Анна разговаривает с чужим парнем из поселка?

— Меня зовут Улис, — сказал он. — Крещен Ульдриком, но мать зовет Улис.

— Улис лучше, — согласилась Анна. — У нас по соседству живет Ульдрик, он совсем старый!

Они оба разом засмеялись, они смеялись тому, что они молодые, еще очень молодые, что впереди бесчисленно, невероятно много дней, которые им предстоит прожить. В весенний день сознать, что ты молод!

— А ты — Анна, — сказал он, — я все знаю!

— Чего ж там не знать, — вполголоса проговорила Анна и отвела взгляд. Она не могла долго смотреть на Улиса. Ей слепило глаза.

— Я мог бы прийти к тебе в гости, — сказал Улис.

— Нет, нет! — испуганно возразила Анна. — Отец не хочет, чтобы ходили гости... К нам никто не ходит, — добавила она.

— Вон что...

— Да, — подтвердила Анна.

— Но как же я тогда тебя увижу?

Анна вопросительно удлилась, ее сама эта мысль занимала.

Как им встретиться, ведь встретиться надо, они не смогут друг без друга!

— Улис, — произнесла Анна.

Он наклонил голову. Корзина оттягивала ей руку, Анна хотела ее перехватить, но он забрал корзину.

— Дай, я подержу... Ну и тяжелая! Тебе всегда приходится носить такие тяжелые?

— Это еще не тяжелая, — отпиралась Анна, гордая своей силой.

— Тяжелая, я же чувствую!

Они засмеялись.

— Что у тебя там такое? Конфеты есть?

Он рылся в корзине как в своей, и Анна предупредила:

— Смотри разобьешь!

— Нету конфет! — разочарованно сказал Улис.

— Отец не дает нам на лакомства, — ответила Анна наставительно.

— Лакомства... — протянул он. — Какие же это лакомства! А ты любишь? Я тебе в другой раз принесу, ладно?

— Где ж ты возьмешь денег? — усомнилась она. — У рыбаков мало денег.

— У меня есть! Сейчас хорошо ловится... Для тебя у меня всегда будет!

Анна опять не смотрела на Улиса. Но мысленно она согласилась, разве Улис этого не заметил?

Когда Анна шла одна дальше, у нее на душе было так легко, как еще никогда.

Но ламповый цилиндр, совсем новый, дал трещину. Когда вынимали из корзины, никто этого не заметил, порча открылась только когда его как следует оглядели.

— Треснутый! — воскликнула Лина. — Где у тебя, девчонка, глаза были, когда ты брала! И лавочник, нет, у него совсем стыда нету!

Анна какое-то время колебалась, свалить ли вину на Шмуловича или же честно признаться, что Улис, копаясь в корзине... Нет, этого нельзя сказать даже матери. А что виноват Шмулович? В лавке продавец с покупательницей вместе смотрели стекло на свет, и там не было ни единой царапины.

— Я, наверное, когда несла... — выдавила из себя Анна.

— Когда несла! Как же ты несла? По земле тащила или об дерева била?

— Нет, — медленно протянула Анна.

— Ну так он все-таки тебя надул, — решила Лина. — Стоит только на минутку отвернуться... В следующий раз я сама пойду в лавку, я ему тогда скажу!

Легко сказать — пойду. А отец ее пустит? Все это взвесив, Анна сказала уже тверже:

— Все же это я, наверно, виновата. Мы вместе смотрели — стекло было целое.

Так оно и есть, изъян и теперь был пустяковый, стекло дальше не трескалось, какое-то время послужит, и мать на том успокоилась. Она не умела долго сердиться.

По вечерам в «Лайнтах» снова ярко горела керосиновая лампа, о незадаче со стеклом мать Карлу ничего не сказала. Все радовались, что свет разогнал по углам тени. Отец, собрав младших детей, начал их тоже учить грамоте, и Густ про себя думал — вряд ли в школе так же скучно и учитель такой страшно сердитый. Шутить Лайнт не умел, и у Мильды после урока были красные, заплаканные глаза. Юрий увлеченно колдовал над деревяшками, он умел вырезать лодочки и разных человечков. На это обычно не оставалось времени, надо было работать — не пустяками заниматься, вот и сейчас настанет сенокосная пора — зубья у граблей полетят с треском. Анна сидела и не делала ничего, она даже не смотрела на огонь, а глядела во двор, где вечерний сумрак лета протягивал длинные серые полосы от одного дерева во дворе к другому. Ей свет был не нужен, ей и без того было так светло, что хоть зажмуривай глаза.

Улис!

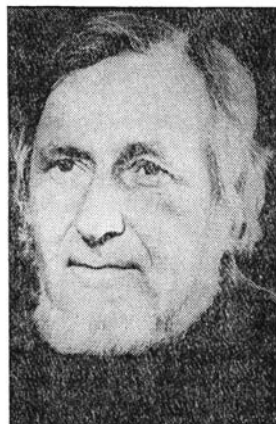
Какое это горе, что ни с кем нельзя поделиться! Рассказать о нем взрослым страшно, малышам — что этим кнопкам скажешь, что они поймут! Ее радость птицей билась в клетке собственных чувств, она так и рвалась на волю, чтобы с ликованием взмыть на крыльях. Но нет, куда там.

Улис...

Завтра они не встретятся и послезавтра не встретятся — никак не выдумать повода, чтобы уйти из дома. Карл держит своих детей на невидимой привязи, ее совсем незаметно, если не вздумаешь перейти дозволенной черты, но не дай бог ступить за черту — жесткие путы натянутся и врежутся в тело.

Продолжение следует

◆ Латышский поэт Олаф ГУТМАНИС родился в 1927 году в Лиепае. После окончания средней школы учился в музыкальном училище, был рыбаком, охотником, хористом, пожарником, редактором телевидения, работал в колхозных бригадах, в районной газете; с 1973 года — член Союза писателей. Вышли книги стихов О. Гутманиса: «Крепкие узлы» (1964), «Голубая глина» (1972), «Диссонанс» (1977), «Путь возвращения» (1981), «Солнцеворот» (1985), «Следы — цветы» (1987), сборник прозы «Рассказы тундры и тайги» (1984), книги очерков «В земле охотников» (1969), «За северным сиянием» (1971), «Там в недрых борах Гаярлыка» (1982), книги рассказов для детей «Дедушкин лось» (1971), «Песня оленья» (1977). Переводил на латышский язык стихи Тютчева, Кольцова, А. К. Толстого.



ПО ГЛУХИМ БОЛОТАМ ЖУРАВЛИ КРИЧАТ

Перевел Александр ЗОРИН

СЕМЬ ЛЕБЕДЕЙ

Семь лебедей, как в сказке,
через день пролетали над нами.
Последний — всех тяжелее —
меня коснулся крылами.

Околдованная душа закричала
голосом лебединым
Далеко, под серыми тучами,
над берегом налюдимым.

Втоптана в грязь серебристая,
ласковая, золотая
душенька... Ей небо заказано,
уготована жизнь земная.

Так и томится, слушая
сказку ту: «Жили-были...»

Семь сыновей королевичей
высоко над нами проплыли.

ИЗ ЦИКЛА «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА»

... В Курземе и пчела жалит сладко.
Янис Петерс

Сладко-то сладко...
Да зудит это место. В детстве когда-то
я шел по душистому лугу,
Босыми ногами цветы загребая...

Как медведь к заветному дубу,
да лапой в дупло . . .

Дед мой соты перебирает.
Пчелы над ульем гудят, летают
по белому саду.
У деда фамилия Бите*.
Он ее законный наследник.
Как все устойчиво и сообразно
в том мире,
где я, сластолюбивый подросток,
бреду по душистому лугу . . .
пока в моих волосах цвета соломы
пчела не запуталась . . .
Глупый, не понимаю, что жалит она так сладко.
Реву, растираю то место, к которому дед
осторожно приложит
кислого яблока ломтик и горстку земли.
Снимет сразу же боль, как рукой.
Глупый, глупый пацан,
где мне было понять, что пчела
жалит так сладко —
в Курземе, в родительском доме . . .
Где, выжженный солнцем, белесый,
мой дед, как усердный божок,
пасет своих пчел.

БРОШЕННЫЙ ХУТОР

Молчат деревья в брошенных хуторах,
обреченные стать первобытным лесом.
Неумолимой хвои победоносный взмах
над стойбищем их безвестным.
Яблонька, почти упавшая на плетень, —
рожает еще, да еще как многодетна!
Озябшая липа дрожит, в дремучую тень
затянутая беспросветно.
Ясени вязнут в подлеске. Их шум bestолок
и неразборчив в компании елок колючих.
Ясность своих невозмутимо-строгих стволов
они утеряли в хитросплетении сучьев.
А когда-то они были посажены в ряд
по сторонам усадьбы,
щебечущей так знакомо . . .
Они и теперь, наверное, здесь стоят
на страже мертвого дома,
охраняя заросшие крапивой следы,
которые лес затягивает навеки.
Старые деревья, как старики,
наклоняются над очагом,
протягивая длинные ветки.
Не хочется им погибнуть от топора.
Не хочется уходить безропотно — и не надо! —
из чистого,
солнцем залитого когда-то двора,
из брошенного
и уже безнадежного сада.

* Бите — по-латышски пчела.

ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ

К каким корням судьба моя причастна,
сроднившись с елью в северных лесах?
Когда другие — может, не напрасно —
свой корень ищут в парках и садах?

С какой хвоинкой, капелькой янтарной
иль с шишкой, раздарившей семена,
я связан общностью элементарной? ..
В высокой кроне чуть звенит она,
как колокол . . .

Цветение — прозренье!
Так ель цветет во имя хвои всей,
Во имя всех невидимых корней
горит сережек алых оперенье.

Я начинался в капле той смолы,
что на цветущей ели выступала,
что жизнь мою лесную украшала,
озолотив и почву и стволы.

И на судьбу мне нечего пенять . . .
Тем более считать ее пропащей.
В безвестной гуще, в непролазной чаще
нас с материнским деревом не разнять.

* * *

По глухим болотам журавли кричат — не в последний ли раз:
сколько нас? сколько нас? сколько нас?

Наберется ли журавлиный клин,
хоть один?!

Чтоб идти, рассекая северный ветер тугой
над лесами продрогшими, над туманными речками с мертвой шугой . . .

Отчего так кричат? Может быть, нет журавушки у журавля?
Унесите, возьмите с собою меня!

Засиделся я, затерялся я среди лесов и болот.
Кабы крылья могучие мне, да за вами в полет! . .

Я ведь тоже обучен гнездо свое не забывать.
Я ведь тоже в поднявшейся стае хочу свое место занять.

Сколько нас! — я кричу и гляжу им вслед.
Я хотел бы собрать на земле этой всех, кого с нами уж нет.

Чей беспомощный клик неподвижная гасит вода,
когда в северном ветре — небесные настезь врата? . .

Где-то снова кричат — не в последний ли раз:
сколько нас! сколько нас!

Наберется ли журавлиный клин,
хоть один? . .



Георгий ГОРЕЛОВСКИЙ — рижский прозаик. После Ленинградского артистического училища работал радистом на полярных станциях, плавал на судах Рижской базы рефрижераторного флота. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Рассказы и очерки публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Вокруг света», «Литературная учеба», «Даугава», «Родник». В 1986 году в Москве вышла первая книга «Распределение».

У ОТЦА

Рассказ

Спи, кто может, — я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму,
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.

Н. А. Некрасов

Андрей Федоров, несмотря на зиму, ехал к матери с охотой. С возрастом он стал ощущать, что город, так любимый им в юности, начал его утомлять и нигде, кроме родной деревни, не может он окончательно стряхнуть с себя груз накопившейся усталости. Да и вообще, дров, видимо, надо подрубить матери, думал Андрей, подправить чего — там дела всегда найдутся. Ему на пользу и матери в радость...

Он и в самом деле нарубил дров, толстенной ольхи и осины, перевез с соседом-трактористом, с ним же разрезал, и один уже расколочил, сложил под стрехой сарая, притянул жердью, чтобы на весне костры не поползли и не рассыпались. Мать приходила к нему, маленькая и кругленькая, в шубейке, и как-то по-детски широко держа руки, смотрела, как он ухаёт топором.

— Иди, иди, мать, в дом, — говорил ей Андрей, — промерзнешь здесь.

— Ничего — солнышко... Погляжу хоть, как ты работаешь... Вот спасибо, сынок... Вот это по-хозяйски... Мне и заботы не будет.

Стоял какой-то странный, чего-то выжидающий февраль, больше похожий на март, — метелей не было, днем светило солнце, начинало капать с крыши, ночью мороз спохватывался и ломил до двадцати и ниже. Андрей занимался дровами, чувствуя, как наливается энергией, которой ему хватит надолго, изредка выкуривал сигаретку, прислонившись к теплым бревнам, щурясь на заснеженные поля и синеватый за речкой лес, снова брался за топор и все время думал с какой-то вялой безысходностью, что, видимо, к отцу тоже придется съездить. Он это понял еще в первый день, когда мать завела разговор про письмо, которое вдруг прислал ей отец и в

котором спрашивалось про какое-то колесо к тачке, и еще там чего-то такого, поросшего мхом, было поднято. Придется ему съездить и к отцу, понял Андрей, хотя особого желания ни теперь, ни раньше к такой поездке у него не было. Разошлись родители, когда ему было девять лет, вырос он с матерью, а отец завел другую семью, детей, правда, у него там своих не было, но оставался он для Андрея, еще по детским воспоминаниям, каким-то чужим, тяжелым в общении, недовольным мужиком, так что и приезд его, Андрея, всегда редкий и ничем для отца не обременительный, был ему вроде и не в радость. А зачем ехать туда, где тебя не ждут? Даже тетка Нюра, вторая отцова жена, оживлялась с приездом Андрея заметнее и тщила все сразу на стол из подпола, кладовок и с грядки, если это произошло летом, а отец смотрел на все это равнодушно, как на неизбежность что ли, но куском хлеба не попрекал, доставал бутылку, вызывался истопить баню... А вот у матери бани своей не было, и она ходила по соседям, когда позовут, а не позовут — так и сидела, и две недели, и три. Не построил батя баньку, когда жили они вместе. Нахрат* был, объяснял мать, и в совхозной, говорил, чисто можно вымыться... Да, тогда была в поселке общая баня, но потом она сгорела, когда родители жили уже врозь, а Андрей учился в институте, новую построить совхоз не собрался, и все, кто мог, оставили собственных, а мать так и осталась без баньки. Купив же свой нынешний дом, одновременно с ремонтом отец сразу же соорудил на дворе и баню, хотя и в этом поселке была общественная баня, большая и удобная, на берегу озера. Это он назло, назло! — вздымался материнский перст. Чтоб досадить! Тут никак не мог, а там сразу и поставил, нечеловечья душа, жить ему здесь не давали!..

Всю жизнь они расходились, сходились, делились и разошлись окончательно, когда отцу шел уже шестидесятый год, но до сих пор все не примирились, все показывали

друг на друга пальцем, все что-то делили в памяти, которой, казалось бы, пора и затуманиться, а она у них почему-то острилась, все их физические силы, уходя, казалось перетапливались в силу духовную, и оба только и держались на духе, на одних неутраченных старых обидах, потому что оба были уже дряхлыми, мать лет двадцать как безуспешно лечилась от гипертонии, отец, в свои восемьдесят четыре ни разу не лежавший в больнице, тоже сдал и уж мало что осталось в нем от самого сильного когда-то мужика в округе — съезжился он ростом, голова ушла в плечи, ноги истончали и искривились, и даже летом он не мог их согреть и ходил только в валенках. Может быть, они только потому дожили до такой древности, иногда казалось Андрею, что это ихнее упорное цепляние за жизнь есть не что иное, как продолжение бесконечной семейной ссоры, никто не хочет уступить другому, не хочет оказаться слабее, и что, по логике, они и умереть должны разом, может быть в один даже день. И тогда хоронить их ему придется одновременно и на одном кладбище, но и здесь пути родителей не сольются, не примирит их даже смерть, потому что мамина родня покоится под одним крестом, а отцовская, за крепкой железной оградкой, скванной им самим, под другим. Никому из близких не придет в голову положить их в одну могилу — это было бы насилием, вандализмом. И если ему пришла такая мысль, у старшей сестры она тоже, конечно, не возникнет, то только потому, что он сын, поздний ребенок, помнящий уже только их угасание. И куда же будет лечь ему душа, чтобы не оскорбить никого, но примирить всех?..

Надо, надо съездить к отцу, настраивал себя Андрей, час до районного центра на одном автобусе, час на другом — вся и дорога. Отдаст богу душу старик — зима их сильно косит — и будешь потом проклипать себя, что мог, да не поехал, а был ведь у него последний раз уже почти четыре года назад, тут как ни надейся на дух, а отмерять отцу время такими отрезками уже нельзя, надо ехать, надо. Мирить их не помирить, бесполезно и пытаться, они и слушать об этом не хо-

* Нахратый — упрямый, неговорчивый (местн.).

тят, а просто для себя съездить, себя хоть как-то замирить. Сестре — той легче, она от отца давно отмежевалась и держит только сторону матери. И отец это знает, и не вспоминает о ней, а когда Андрей в прошлый приезд сказал, что развелась сестра с мужем, отец лишь спросил с ехидцей: «Наверно, мужик виноват?» И Андрей сумел лишь ответить: «А черт их разберет, на него валит», — а про себя удивился: откуда ему известно? откуда такая точная догадка? Да, действительно, привалила сестра своего милого с какой-то девкой. А ведь зять-то мужик толковый — и попался, как мальчишка! Неужели, если приспичило, не мог обставить, чтоб все шито-крыто было? И сразу развод. Не в поддавки ли он играл?.. Сестра теперь превращается в мегеру, а зять быстренько женился по новой, слава богу дети взрослые, не пришлось делить: старшая дочка замужем, младшая тоже вот-вот выскочит, выскочит за первого же. Не будет она матушке внимать, не уживутся в одной квартире, не тот характер...

Трудно было угадать: хочет мать, чтобы он поехал к отцу, или нет, возможно она и сама для себя этого не решила, прямо она не высказывалась, но почти каждый день находила повод вернуть о нем хотя несколько слов. И когда Андрей, раздражившись от всех этих материнских намеков и нелестных об отце воспоминаний, слышанных им не раз, и от своих раздумий, твердо объявил, что решил все же съездить к отцу на пару дней, мать, сидя за прялкой, сначала на мгновение замерла, будто прислушиваясь к чему-то или ожидая от сына еще каких-то слов, но Андрей к сказанному ничего не добавил, и тут же снова толкнула колесо, сказала со вздохом:

— Съезди, какой ни есть, а батька... Погляди, как он там... Слышала, подыхать собрался, да не верю я...

И Андрей поехал...

Войдя в дом — на стук ему никто не ответил — и увидев отца, Андрей понял, что поступил правильно. Борьба с уходящим временем стала отцу уже совсем не под силу. Оплыли и обвисли когда-то могучие плечи, и руки стали казаться непо-

мерно длинными, лицо покрылось коричневыми пигментными пятнами, провалились щеки...

— Здравствуйте, здравствуйте, — часто закивал он головой, поднимаясь с дивана, на котором, видимо, дремал.

— Ты что, отец, не узнаешь? — протянул руку Андрей.

Старик, широко расставляя негнущиеся ноги, подошел вплотную и ахнул.

— Мать честная, вот так гости!.. Думал, так и помру, не увижу... А ты вот и приехал... Нюр! — вдруг закричал он на весь дом, бестолково затопал по комнате, опустив плетью руки. — А, Нюр?.. Где ты? — У!.. — донеслось откуда-то с задов дома.

— Иди сюда! Погляди-ка, кто приехал...

— Иду, чего ты там...

Для мачехи годы тоже не прошли бесследно, не стало многих зубов и как-то безобразно разъехалась она вширь.

— Ну вот, а то дед помирать собрался... Напиши, говорю, письмо, пусть сын приедет, повидаетесь, так не хочет...

— А, что писать, — отмахнулся отец, — был конек — да весь съездился. Пиши теперь, не пиши...

— Ну, как же ты, Андрюша, не женился?

— Женился, тетя Нюр, второй год уже.

— Слышишь, бать, женился сынтю!.. Да съдь ты, чего это разбегался? Сейчас на стол буду собирать, и так время к ужину... Ну а детки есть ли?

— Будут, к осени ждем.

— Вот и хорошо, и дай бог!.. А живете где ж?

— Квартиру получил двухкомнатную, есть где жить.

— Вот молодец! — размахнула руки мачеха. — Вот это мужик!.. А то теперь все какие-то недоделанные, бездомные, все в примаках живут. Вон у нас, в поселке...

— Да чего ты прицепилась к человеку с дороги, — перебил отец. — Наспрашиваешься еще...

— А ты надевай фуфайку да за дровами иди, надо ж плиту растопить, сидишь, разинул рот... Мы-то и не готовились, ну да чем рады...

— Я схожу, отец, — поднялся бы-ло Андрей.

— Не надо, не надо, — остано-вила мачеха, — сам принесет. Я те-бе другое дело найду. В подвал по-лезешь, помидоров, тушенки доста-нешь. А то нам с батькой как туда спускаться, так полдня корячишь-ся... Сними, сними пиджак, собе-решь паутины... Сейчас я тебе свет включу...

В подполе, однако, никакой пау-тины Андрей не заметил. Было там чисто и аккуратно, в крепких засе-ках — чувствовалась батина рука — горками высилась картошка, круп-ная, средняя, для посадки, и мел-кая, кормовая; в поменьших — мор-ковь, свекла. Стояли с чем-то кадки и кадушки, бутылки, банки с огур-цами, помидорами, вареньем, ту-шенкой... И что он так раззабо-тился к старости, подумал об отце Андрей. В материнском доме все осталось как-то недоделано, вкривь и вкось, и в подвале у нее не такое изобилие, нет там вообще никакого изобилия, а только-только запас-цев...

— А у меня-то какое горе, — хлоп-поча, причитала мачеха, — вот горе так горе!.. Зятя-то опять поса-дили...

— Я сразу говорил — тюрем-ник, — вставил отец.

— Так по молодости у кого не бывает?.. Ну, подрался, отсидел, а теперь же семью завел, двое реб-ят, надо ж себя соображать, а он опять!.. Такое горе девке... Дол-го выбирала, а вишь как сложи-лось — не судьба... На двух рабо-тах теперь растопыряется, ребят-то надо тянуть... Пять лет строгого дали, вот несчастье какое...

— А не ходи с ножичком! — опять ввернул отец. — Что щас, война? Зачем он ему?

— А вот спроси ты его, беса, за-чем...

— Я твоей Вальке сразу говорил, что это не человек. Куда он гож, когда его и в армию не брали.

— Статья такая была...

— Статья, говори ты мне... Это последнее дело — с ножиком по городу ходить.

— Да он и не помнит, кто ему этот ножик вложил...

— Ага, не помнит!.. А чего это мне вот никто не вложил?.. Там не

дураки сидят, следствие проводи-лось.

— Да ну тебя, дед, ты старинный человек, не понимаешь ты моло-дых... Вложишь тебе...

— А тут и понимать нечего: тор-нул человека ножиком — отвечай! И нечего виноватых по сторонам искать. Я таких, кто с ножичком да гирькой ходил, по молодости как клопов давил, храбрых таких...

— Ладно, ладно, не твое горе...

— А чье? Твоя ж девка!..

— Моя, а не твоя, и молчи.

— Вот заладила: твоя — моя...

И бес с вами, не послушали, ну и ревите теперь на пару... Позор.

— Позор, — проштетала мачеха и всхлинула. — И ребятки уже большие, в школу пошли, понимают все...

... Вот видишь, вздымался в па-мяти Андрея материнский перст, те-бя маленького без коровы оставил, выгреб все, алименты платил один-надцать рублей поганных и ни копей-ки больше, как будто ты на сторо-не был прижит, а чужой какой-то девке пятьсот рублей на свадьбу ссудил! Ты думаешь любовь у него там? Породился он? Да не пове-рю!.. Он и в молодости, как бирюк, все один был, ни друзей, ни родни никакой не признавал, вот только по бабам путался, кол ему осиновый в душу!.. Да и нет у него души чело-вечьей, а это чтоб досадить, пока-зать, что я чужая ему, плохая, а он вот какой добрый, что мешала ему жить, блядей его чихвостила, у са-тана... Ты мне враг и все! — вот что он мне говорил. А какой же я ему враг? Что всю жизнь у коровы под хвостом просидела, дом сбе-регла, пока он блудил по свету, здоровье угробила, а к старости и совсем не нада стала — молодую нашел!.. Где этот бог, куда он смотри!.. И как его земля-матуш-ка держит, вот не пойму!.. Он и Ньюшку эту бросит, попомни мои слова! Отхватила муженька!.. Ну-ну, похлебашь горюшка, у него та-ких целый свет пройден...

Да, отец, а ведь мать, кажется, права. Зачем ты отгрохал эту свадь-бу, когда она в одиночку тянула меня, чтоб я и одет был не хуже других, и сыт, и учиться заставляла. Ты моим успехам вроде и не рад, а за чужую дочку расстроился, как за

свою родную. В самом деле, дай тебе еще лет двадцать, ты бы, наверное, и третью семью завел, чтобы доказать что-то двум первым. Но что, отец? И кому, собственно, доказывать, зачем?..

За ужином тетка Нюра выпила две стопки, раскраснелась, запьянела и пошла спать.

— Вы тут говорите, батя с сыном... — И уже из другой комнаты крикнула: — Вася, а что ж ты мальцу баню не предложил?

— А забыл, — простодушно признался старик и посмотрел на Андрея. — Теперь если завтра...

— Не надо, отец. Я у соседа в субботу парился.

— Это у Витьки Кулеша?

— Витька твой уже лет десять как в могиле. У сына его, Николая, трактористом работает.

— Ну да, я знаю, что померши... И Петровна к ним ходит?

— Позовут, так сходит, а забудут... Ты же не сподобился баньку срубить.

— Чего это? — не понял отец.

— Баню, говорю, ты поленился срубить, а совхозная давно сгорела.

— Я поленился?

— Ну не я же.

— А она б не поленилась в такую баню ходить, за полтора километра, а? Мне директор говорит: строй возле реки! А на беса она там нада, когда совхозная посреди деревни стояла? Не давали ж ничего строить, пресекали, уклонов боялись, возврату...

— А что же ты матери не объяснил? Она считает, что ты из-за упрямства своего не поставил.

— А не бабское это дело, и нечего нос совать. Или что, мне б разрешили тогда на печине поставить, если б я ей разъяснил?..

Андрей, понимая, что воспитывать отца ему поздно, лишь вздохнул да покачал головой.

— Ну, что еще она там тебе набрехала? — помолчав с минуту, спросил отец. Андрей, почувствовав в вопросе насмешку, вдруг обозлился, сильно затынулся сигаретой и, чеканя слова, сказал:

— Она не брешет, а рассказывает. От тебя же ничего не услышишь. Еще она рассказывала про одну баню, в которой ты полгода отсиживался, когда вас гнали с хутора.

Отец отреагировал тут же, как будто давно знал, о чем сейчас заговорит Андрей.

— Да каких полгода!.. Как же, дали б мне там сидеть полгода, вот ум-то!.. А где она была тогда, сказала? Где она сидела, а? Их же тоже с батькой сселили. А они в сараюхе жили, в барском птичнике, вот где. Да, я не сходил, а она испугалась и побежала к батьке с маткой — их сразу и погнали, потому как кормилица есть, девка молодая — вот пособила! А осталась бы со мной, их бы и не тронули, стариков, кому они мешали? Я ее и не держал, бежи, если там слаще... А мне — активисты пришли — крышу раскрыли, тогда я и перешел в баню жить и работать в кузнице бросил. Стали тюрьмой грозить. Вижу — дело не бело, многих уже прибрали. Я тогда котомку скрал — и в Питер, в Ленинград. Оделся во все лучшее: тужурку, штаны кожаные, сапоги-хром, — и поехал. Добрался до Питера, у сестры переночевал — и в Смольный. Есть же, думаю, где-то на них управа...

— Ты ходил в Смольный? — уставился на отца Андрей.

— Да, ходил.

— В тридцатом году?

— Да, в тридцатом году я ходил в Смольный.

— И тебя приняли?

— Впустили, да, слухай. На воротах солдат, часовой. Так и так, объясняю, по такому делу я, браток, пропусти. Стой, говорит, сейчас позвоню. Позвонил — иди, говорит. А куда, в какую дверь? Прямо иди, там встретят. Пошел. А в дверях уже двое милиционеров, офицеры стоят. Документы! А у меня документ был настоящий, в девятнадцатом году выдан, что я крестьянин такой-то деревни, такого сельсовета, такой волости, кузнец. Комсомольцы его у меня требовали, да я не отдал, потерял, сказал, давно — и баста. А они мне хотели бумажку взамен выписать, что я лишенец, всех прав лишенный человек! Кукиш им с постным маслом! Они-то мне ее выписали, да я ей подтерся на другой день. А этот документ берег, потому что он силу имел, при Ленине еще выписан был. А с той-то справкой меня б еще солдат у забора заарестовал бы да в каталаж-

ку отправил. Показываю милиционеру. Ага, по-другому сразу на меня глядит, подействовало, знать. А второй: руки, говорит, покажи. Чего, думаю, руки ему мои?.. Потом уж смекнул, что все равно не верили они мне, не по-крестьянски я одет был — кепка и та кожаная. А я по молодости на спор в руках красную подкову вокруг кузницы обносил — тока дым шел. Ну, видят, руки мои кузнецкие. По какому делу явился? Объясняю, что так и так, притесняют, крышу раскрыли, разорили и меня, и соседей. Да, вижу тут, что-то не того брякнул, мать честная, наострились как-то они, да еще и оружие, спрашивают, есть? Какое оружие? — руками развожу. Финка, наган! Откуль, товарищ!.. А он мне: я тебе не товарищ, снимай кожан! Ну, думаю, пропал. Снял, значит, ощупали они его, потом и меня всего, на сапоги поглядели. А сапоги-то у меня еще в мальчиках были справлены, на гулянку ходить. Голенище высокое, в обтяг, наденешь не сразу, а снимать — так одному и никак. Раз, помню, ночью с лавины сорвался, зачерпнул, так потом и спал в сапоге... Отдали они, значит, мне тужурку, переглядываются. В гражданской участие принимал? Корниловский мятеж, говорю, подавлял, было дело, а больше не пришлось, кузнецом работал. Опять вроде как теплее на меня глядеть стали. Что делать будем? — один другого спрашивает. А пускай, говорит, пройдет, интересный какой-то объект...

— Субъект, — поправил Андрей.

— Чаво?

— «Интересный субъект», он сказал.

— А ты там был?

— Ладно, давай дальше. — Андрей налил себе рюмку, выпил, бросил в рот шматок розового сала. Отец проследил за всей процедурой и только после того, как Андрей прожевал, продолжил.

— Вот что, говорят, Василий Федоров, мы о тебе сейчас доложим, но смотри, лишнего там не мели. Это Смольный, а не кабак, здесь люди государственными делами занимаются, а ты со своей крышей соломенной пришел время отнимать. Ясно, говорю, ясно. Сел один за стол, тут, у дверей стоял, списал с моего паспорта в книгу. По какому

делу, спрашивает, идешь? По хозяйственному, отвечаю. Заруби себе на носу, объясняет, дела могут быть личные, общественные и государственные. И еще профсоюзные. У тебя прошение составлено? Подписи колхозников имеются? Нету, говорю, подписей, сам я, один. Значит, записываю: по личному делу. И паспорт мне отдал. В другой телефон позвонил. Бежит сверху милиционер. Проводить в такую-то комнату! Тот: есть, прошу за мной! А первый: стой!.. Что такое, думаю. Ты что, к попу идешь исповедоваться? Прекратить креститься! Слушаюсь, говорю, извиняйте — привычка... Ладно, приводят в кабинет. За столом мужчина, сбоку, за другим, женщина, девушка молодая. Мужчина говорит: садитесь, рассказывайте, что привело. Ну, стал я ему рассказывать покладней, да, он слушает, то спросит, это запишет, сколько, чего, как фамилия. Вежливый такой в обращении начальник. Все я ему поведал, и про крышу сказал, что содрали, выгребли, нету жизни — одно разорение. Хорошо, говорит, дело ваше ясное и сигнал это... своевременный. Разберемся. Подписал мне бумажку, которую милиционер выдал: вот ваш пропуск, подождите меня минуту, надо уточнить. И вышел. Да, ну а пока я с ним говорил, девка все молчала, а тока он дверь хлопнул — как она на меня набросится!.. Я бы вас, кулацкое отродье, таких-рассяких к стенке без разборки ставила! Жаловаться пришел, ах ты!.. Мать честная, думаю, вот когда попал, так попал! И тот все не возвращается, и наган у нее на боку, а тужурка — ну как моя. Я сначала еще подумал, никак она у нашего Митрохи Хромого шила, был такой мастер в Замошье. Да не могла, городская, сразу видать, девка. Маткин берег, что делать? Схватился за живот, где, спрашиваю, тут у вас отхожее место, прихватило что-то. А она цоп за кобурку: может, тебя и провредить еще?.. Я к дверям: спасибочки, извиняйте, сам доберусь. Да по коридору, да по лестнице — вниз. Милиционерам пропуск показываю, ай, думаю, скорей бы, тока бы ничего не распрощивали. Но тут, правда, без слов они меня отпустили, даже дверь распахнули...

Про это мать ничего Андрею не рассказывала. А может, и не знала даже. Или забыла, не поняла скорее всего, что это значило в то время, а запомнилось ей другое, о чем Андрей слышал от нее не раз, что отец бросил ее, уехал в Ленинград, жил там у троюродной сестры, незамужней истаскавшейся бабы, что отец сожительствовал со своей родственницей, вот о чем говорила ему мать. А потом она поехала к нему, а он ее не принимал, жил все у той же Насти, а она — у своих родственников, и в тридцать втором году, в Ленинграде, у них все же появился ребенок, дочка, Андреева старшая сестра, и только после этого, в тридцать третьем, отец согласился вернуться в деревню.

Почему же ты не вернулся туда сразу, сходи в Смольный? — глядя на отца, думал Андрей. Испугался? Да вроде ты не из пугливых... А почему и нет? Ты испугался не тюрьмы и даже не смерти, а той расхристанной несправедливости, которая плескалась по деревням. Политграмоту ты не изучал и для чего все это делалось, ты не понимал, а видел только то, что происходило, а ни объяснить, ни оправдать тогдашним днем это было невозможно. Была нацеленность в будущее, а будущее для крестьянина — это уборка, а после уборки перекантоваться бы зиму, да чтоб осталось на сев. Крепкие стены да добрая крыша из ржаной соломы — вот и все, о чем ты мог мечтать, о чем ты умел мечтать. А тебя за уши потащили в будущее, ничего не объяснив и не растолковав, да и как можно было сразу, вдруг толковать, чтобы ты поверил, чтобы боль и горе воспринял за радость и счастье?.. Ты ведь и сейчас, дожив до века дырала и атома, не понимаешь, для чего это тогда делалось, а ведь миллионы так и сгинули, не только ничего не поняв и не увидев обещанного будущего, но и сегодняшнего заурядного дня. И все же почему, почему, отец, ты не вернулся?.. Андрей чувствовал, что спрашивать об этом не следует, раз отец молчит, как не должен он спрашивать и о той тетке Насте, к которой шьет его мать. Отец ее упомянул, и это уже хорошо, хотя само по себе ни о чем еще не говорит. Так почему же, почему?.. Не-

ужели все-таки испугался?.. Нет, нет. Ты тогда просто сдался, отец. После приема в том кабинете ты понял, что власть хоть и одна, но кроить она может двояко, и скорее она зацепит тем концом, который бьет, а не которым гладит. Всем своим крестьянским нутром ты осознал, что ты уже тем виноват, что ты есть, что родился и существуешь на земле, уже только поэтому тебя надо бить, выжимать из тебя все соки, на тебе должны ехать, а ты должен тянуть и терпеть, так было всегда и всегда, а в тридцатом тебе и вообще так замяли подпругу, что ни вдохнуть, ни выдохнуть стало. И ты сдался. Ты попытался один остановить колесо истории, и как ты из-под него смог выскочить — уму непостижимо...

— Ты, говоришь, участвовал в подавлении корниловщины?

— Да. Все на заводе вооружались, и мне винтовку дали. Закрывали Питер от Корнилова. В атаку ходил на офицеров... Малец — в охотку было.

— А как ты попал в Питер в самую революцию?

— А я не в самую, а в пятнадцатом году подался туда на заработки. Сначала пароходы, баржи грузил на пристани. Бывало, куль десять-пуд возьмешь — и пошел...

— Ты что, в пятнадцать лет десять пудов поднимал?

— Поднимать не поднимал, а наваял — и пошел. Ну, там разбой часто был, и крали, и пили сильно, и дрались — не понравилось мне, хоть и платили хорошо. Домой, помню, два раза по тридцать рублей отправлял. А потом на заводикшо пристроился, посоветовал один человек. Сначала по жестяному, потом и по кузнечному делу обучился, ну а потом тока и революция. Все на борьбу с Корниловым! — и я пошел. А потом и Октябрьская совершилась...

— Ну-ну, дальше...

Отец вдруг выставил ухо, показал на дверь второй комнаты:

— Спит она?

— Спит. Слышишь же — храпит!

— Слышу, да... А потом получил я из деревни письмо, что батька мой помер, и засобирался я домой. Да и голодно стало в Питере, и заработка никакого, одни митинги да стрельба по ночам. Ну и пошел я.

А в Пскове в то время немцы стояли, по осени уже дело было, и шибко я стороной брал, чтоб, значит, к немцам не втелемяшиться. Раз попросился к одному хозяину заночевать. Куришь? — спрашивает. Не курю. Ну иди тогда на сеновал и спи. А за день я порядком отмахал, заснул как мертвый. Просыпаюсь — мать честная, что такое? — крики, стрельба, кони ржут. Выглянул — войско какое-то в деревне. Тут меня сразу и схватили. Кто таков? — спрашивают у хозяина. Кого скрываешь? Не знаю, не знаю я его, открещивается, вчера на ночлег попросился, из Питера, говорил, идет. Из Питера? Ага, к командиру его! Ну, замечаю, у кого бант приколот, а у кого и звезда на фуражке — к красным, знать, попал, слава богу думаю. Приводят к командиру. Чернявенький такой мужичок, весь в ремнях, лицом на татарина похож. Знаешь, у кого ты находишься, спрашивает. В красной части, похоже, нахожусь, отвечаю. Правильно, ты находишься в полку Красной Армии Булак-Балаховича, слышал про такого? Не, говорю, не слыхал. Ну, тем хуже для тебя, грозит, а ты кто такой? А такой-то и такой, отвечаю, был в Питере на заработках, иду домой, потому как батька помер. Чем докажешь? А вот, письмо. Прочитал он его. У тебя что, матка грамотная? Не, говорю, совсем неграмотная. А кто писал? А не знаю, кто писал, видать, попросила кого-нибудь. Так, ну а что в Питере происходит? Большое, отвечаю, беспокойство происходит, террор объявлен. Так что ж ты, такой молодой и здоровый, за маткин подол идешь прятаться, когда вся держава огнем борьбы охвачена? А потому, говорю, и иду, что всё в огне, а дома одни бабы: матка, тетка старая да сестра малая. Ну вот что, говорит, даже ты мне понравился, хорошо допрос держишь, так что выбирай: или я тебя на том суку повешу, или вступишь в мой полк. Вот-те, думаю, и так!.. А против кого, спрашиваю, вы здесь воюете? А воюю я, объясняет, против немцев, а на данный момент подавляю кулацкие мятежи. Ну, в восемнадцать лет кому охота на суку болтаться? Согласен, говорю, вступаю в вашу армию. Добро, молодец! У кого, кричит, там вчера бойца выбило? —

дать ему коня. А армия эта вся конная была, а как же, пеших почитай что и не было, в обозе если тока, и те на дрогах ехали...

— Отец, — не выдержал Андрей, — ты что-то путаешь. Какая Красная Армия? Булак-Балахович — это бело-гвардеец, его банда брала Псков у красных.

— Каво ты мне тут лопочешь, сопля! — не на шутку вскинулся отец. — Ты эту историю по книжке прочитал, а я одну вот на этом горбу всю пронес! Взять ему Псков, как же!.. Он тока мужиков сечь да баб силничать мог, Псков он брал... Псков сначала немцы взяли, потом бело-эстонцы, а потом тока и он туда вошел, уже белым. А сначала это была Красная Армия и Булак-Балахович был красный командир. А потом он перешел к немцам и стал белым, и армия егоная стала называться бандой, во как было!..

Что за черт? — Андрей откинулся на спинку стула. Если это факт истории, то почему ему ничего неизвестно? Или он где-то просто прохлопал ушами?..

— Так что же, ты воевал в банде Булак-Балаховича?

— В банде я не воевал, а в красном полку Булак-Балаховича состоял, было такое дело. Мне эта армия сразу не понравилась. Немцев они и не трогали, а мужичков трепали без Христа, обирали подчистую, а каких и стреляли и вешали. Я-то все приглядывался да в стороне, одним ком держался. Но глаз за собой чуял, следил за мной взводный. Да ну беса тебе лысого, все равно, думаю, я тебя перехитрю. И когда они уже и впрямь на поворот к немцам пошли, я в первую же ночь от них и утек. С конем вместе. А конь добрый был, Маркел звали, пятилеток, жеребец. Он и под седлом, и под плугом бы пошел... Конь так конь... Ну да вижу: с конем мне не дорога, кругом война, за одного коня такого пристукнуть могут, я его и отпустил. Снял сбрую, седло и пустил в поле. Он за мной долго бежал, ну я его хворостиной огрел, он и отстал...

Отец умолк, ушел в себя, глаза поблекли, рот старчески приоткрылся. Что значит для крестьянина лошадь, подумал Андрей. Спроси какое-нибудь имя — не помнит, а вот

жеребец тот, наверное, до сих пор перед глазами... И борозда по полю, которую он мог бы проложить.

— Бать, — тронул Андрей старика за руку, — ну а дальше? Коня отпустил, дальше что?

— А ничего. Пришел домой и стал работать кузнецом. Вот и все дальше.

— Понятно... А кузница эта чья была?

— Колхозная.

— Так а за что тебе крышу раскрыли?

— А спроси!.. Съезжай с хутора, говорят, и женка твоя пусть в колхоз идет работать. А я им говорю: бабе моей и по дому работы вдоволь, коня я вам отдал, а у меня к тому времени и конек был куплен, а как же, вот, и с хутора я не съеду, это батьков дом. Ну и пришли, все подмели, забрали, крышу опустили — лишенец ты теперь, говорят. Жил жил, работал работал, а потом пришли, у кого и избы своей никогда не было, и сделали собакой бездомной. Хошь меня убей, хошь сам давись... А было — и топились, и давились, стонала деревня...

— Ну а потом, когда ты вернулся из Ленинграда, ты опять в кузнице работал?

— И в кузнице работал, и в МТСе перед войной...

— А в каком году тебя призвали?

— В сорок четвертом.

— В сорок четвертом? А мать говорит, что ты всю войну просидел в плену...

— Растакую матушку! — Отец рывком поднялся с табуретки, и та упала. Прошел к шкафу, размахнул дверцу, стал шарить по карманам, обрывая и спуская с вешалок одежду. — На, гляди! — Он протянул Андрею военный билет.

Участие в гражданской войне — не участвовал. Так... Великая Отечественная, сорок четвертый, призван по мобилизации, приказ ГКО, номер... Август сорок четвертого — общевоинская подготовка рядового состава, часть, номер... Сентябрь — боевые действия в составе 1-го Украинского фронта, часть, номер... Октябрь — пленен... 1946, июнь — прошел полную проверку, признан невиновным, архив СА, единица хранения, буква, дробь, номер... 1956 — снят с воинского учета.

— Ну? — Отец, пока Андрей листал билет, стоял над ним раскорячив ноги и тяжело дышал.

— Ты сядь, сядь, отец, я же ничего не знал.

— Не знаешь, так не брехай!

— А почему сорок шестой?

— А потому, что нас освободили американцы и не отпускали. Агитация была — не ехать. В каждом пересыльном лагере специально для русских написано было: «У нас нет пленных, у нас есть предатели».

— Это, кажется, ответ Сталина шведскому Красному Кресту...

— Верно, Сталина слова. И многие боялись, уезжали и в Америку, и в Канаду, в Ан... эту, Аргентину. А я домой просился, и всю проверку я прошел. Я в плен не сдавался, меня оглушили, на переправе дело было. Ловкий немец попался... Думал, щас задавлю, как паука, а он меня как ковырнет через себя — я мордой в песок... Очнулся — несут, гляжу — свои несут. Свои-то свои, а кругом немцы, плен...

Что ты сейчас имеешь в виду, говоря «домой», думал Андрей. Хутора твоего уже пятнадцать лет как не было, а ведь перед войной вы с матерью снова разошлись, ты бросил ее с девчонкой на руках, и у тебя была какая-то Дашка, но ты ведь не к ней вернулся, а приполз к матери, ты вернулся из плена «кожа и кости», и она тебя приняла и выходила, как ребенка. Что тебе виделось за этим «домой»? Только родина — кусты, перелески, кузница, верстак в сарае?.. Или еще и семья, оставленная тобою шесть лет назад? Конечно, Америка для тебя была таким же отвлеченным понятием, как, скажем, Луна, никто тебя там не ждал, а здесь, ты знал, несмотря ни на что, тебя все же ждут. Дом — это, видимо, и есть то место, где тебя ждут — мать ли, жена, — и если еще ты там где-то и родился, то эта пуповина вечна, через нее и идет вся тяга к жизни, стремление подняться во что бы то ни стало. И чем больше расстояние, тем сильнее становится это возвращающее притяжение. Прервется оно — и тебя просто не станет. И ты вернулся, отец...

Надо было спросить о чем-то еще, о чем-то главном, и это главное, недосказанное отцом, Андрей чувство-

вал, было где-то уже близко, совсем рядом, но отец, видимо, устал от воспоминаний, замкнулся, а может, и обиделся и, поднявшись из-за стола, начал укладываться.

— А Петровне ты все ж так напомни, что я не всю войну в плену был. Попробуй, посиди там, люди через месяц коньки откидывали, потому что каторга и издевательства... А она: всю войну!..

— Ладно, ладно, отец...

— Ну, так. Свет гаси.

Отец покряхтел, кашлянул, отвернулся к стене и затих. Его тело, продавив скрипучий железный панцирь, выступало вверх острым углом плеча, и, глядя на это плечо, выставленное как защита, и на его сломленную тень на стене, Андрей понял, что ничего больше отец сегодня не скажет, и что разговор этот можно лишь начать сначала, и только тогда есть возможность продвигаться дальше, но это вряд ли когда теперь уж случится...

Ладно, все это можно понять, мать в запале говорит «всю войну», неосознанно валит и на тебя вину за то, что после войны она таскала на себе плуг и ела лебеду, когда ты не вернулся с войны вовремя, а прозябал, ей кэзалося, в каком-то непонятном плену. Точнее, вовремя никто не вернулся, вообще почти никто не вернулся, и пока тебя не было, она, конечно, ждала с нетерпением, ее жгучая надежда, обращенная в неизвестность, — единственное, что она тогда могла, а винить тебя она стала позже, когда ты все же вернулся, и, как оказалось, из плена. Беззащитному бабскому горю надо было выплеснуться и еще на кого-то, кроме проклятого фашиста, а ты, законный муж, в самые трудные периоды оказывался где-то в стороне, тебя не было рядом, так уж выходило все время у вас, но ведь ты ее бил, отец, думал Андрей, даже я это помню, и никогда я тебе не прощу этого, никогда. Какую невымыщенную злобу срывал ты на том, что не мог тебе ответить и был, так сказать, всегда под рукой? А ты ведь бил ее не как муж жену, ты бил ее безжалостно, действительно, как врага, хотя она была такая же крестьянка и свою долю общего лиха она и без того получала. Так за что же, отец? Чем

тебе не угодила мать? Или тебе была не по душе именно ее христианская покорность, готовность простить, как будто за тобой ничего и не числится? Ты возвращаешься утром бог знает от кого, ждешь скандала, упреков, а вместо этого тебе тихо говорят: «Садись, Вася, завтракать, небось проголодался, у меня по дому все сделано». Ведь так, по словам матери, происходило не однажды? И ты со своей угрюмой толстолюбым понять и принять это не мог. Единственное, что ты мог здесь почувствовать, это издевку над собой. Мать, выходит, пошире тебя, батя, и посложнее. Может, и сильнее. Великая требуется сила духа, чтобы на оскорбление, обиду ответить добротой, то есть прощением. Мать своей женской слабостью побеждала твою мужскую силу. Ты чувствовал это и наливался злобой. От этого ты срывался? Только ли? Кого еще и что изничтожал ты в душе своей, колотя ее?.. Неужели, неужели и ты ревновал ее к кому-то?.. Ведь мать рассказывала, что ты дрался на гулянках и в парнях, и потом, когда вы уже поженились. А из-за чего дерутся на гулянках? Из-за девок, батя, дерутся и для девок, это уж я и сам знаю, прошел я это. Мать была красива, стройна и на нее, конечно, поглядывали. Своей веселостью, ощущением молодости, красоты, замужества, сама того не сознавая, она, видимо, давала тебе повод для ревности и ты не мог стерпеть. А она не понимала, из-за чего опять трещат вокруг тебя колья, и в страхе убегала домой. Ты приходил позже и заваливался спать один, как зверь, говорила она. Ты не мог признаться себе в этой слабости, так не подходящей к твоей натуре, и бил мать, уничтожая свою ревность, ты дрался с мужиками, убивая ее красоту, — все это отдает большой bestолковщиной, батя, и результат получался совсем не тот, которого бы тебе хотелось. И тогда ты начинал бояться, что тебе не справиться ни с собой, ни с матерью, и ты бросал ее. И вот тогда, оставшись одна, она начинала тебя любить, и ждать тебя, и проклинать, и плакать, и прощать. Когда ты возвращался, все ведь прощалось, она принимала тебя с радостью, но тебя тут же подхлестывало вновь. И в конце концов

ты сдался, ты развелся официально и женился заново, пытаешься все зачеркнуть. Но разве возможно? Про какое колесо ты написал ей недавно, к какой тачке, за которым хотел приехать? Ты же, отходя, забирал все, ты мне, пацану, даже молотка не оставил, ты отрезал напрочь, чтоб и не оглядываться, а теперь хочешь ехать за каким-то несуществующим колесом! Зачем тебе эта тачка, когда тебя самого уже надо возить на тачке! ..

Правильно ли я сужу, так ли все было? Не строю ли я на песке? Ведь сейчас я забываю о важном, я не забываю, просто я не могу говорить в два голоса. Ведь я не говорю о том времени, в котором вы жили, любили, ревновали, сходились и расходились. Оно само по себе требовало большого мужества и терпения даже при полном единодушии. Матери, как женщине, было легче привыкнуть к новым порядкам, ведь для нее не это главное, а всегда вначале чувство, любовь, семья. Ты же все время сопротивлялся, ты упирался, как бык, которого тащат на убой, ты ругался с начальством, бросал, уходил, ты и в МТС работал, и на ремзаводе, а мать все время сидела на месте и смотрела, как ты колбродишь, и терпела, от всего этого она только терпела. Ты ушел из совхоза и у вас отобрали огород, вам не давали лошадь, покоса на корову... Сад обложили налогом, и ты вырубил всю смородину и крыжовник, это и я помню, а мать только плакала... Нужно было в обязательном порядке сдать какое-то количество яиц, а ты приказал: «Приду с работы — чтоб ни одной не было!» И мать целый день ловила, резала, щипала и солила в кадке кур и плакала, плакала... Хорошо, что были сняты с повестки слова «вредительство», «враг», но все равно здесь было явное неподчинение властям, и когда пришло время запахать огород, тебе не дали лошадь, и ты уволился из совхоза и устроился в районный ремзавод. И тогда у вас вообще отняли огород, оставили пятнадцать соток, как единоличникам, а на этих пятнадцати стояли и дом, и сарай с хлевом, и садок, и прудок, а кормиться чем-то надо было, и ты до середины лета копал лопатой двор и между яблонь, все

свободные места, так что и пройти стало негде, ты копал, а мать подсаживала там огурец, там лучину, там свеклину... Из обильного ничего, конечно, не вызрело, но картошка родилась на славу, она любит расти по целине, и зиму мы как-то прожили. Через год сменился директор, переизбрали рабочком, ты вернулся на свою кузницу, вам снова нарезали полные тридцать соток, но к осени ты разругался и с новым директором, и нам не дали покоса на корову — «воспитание» нового крестьянина осуществлялось исстари известными методами. И ты глубокой осенью косил болотную тросту и осоку, и, я помню, ты брал меня с собой, мне было интересно в лесу, я помню, как эта осока, почти сухая, трещала под твоей косой, словно ее подсекал огонь. Накосил ты целый сарай, но корова осоку, конечно, не ела и не сдохла только потому, что мать поддерживала ее пойлом с хлебными корками, осыпкой, нарезанной свеклой, и вообще к концу зимы наша Ночка стала есть все, как собака, кроме твоей осоки, но весной выйти из хлева не смогла, и ты, обратав веревкой, волоком вытащил ее в сад, на зазеленевшую травку. Там она стояла на коленях передних ног, жадно хватала вокруг себя пробиравшуюся поросль, вырывая ее вместе с землей и остатками прошлогодних стеблей, а страшный костистый зад вздымался к небу, как развалины чего-то. А мать смотрела и плакала, плакала... Я тоже плакал. Мне было жалко и корову с провалившимися боками, вылезшей шерстью, и мать, и во мне кипела злость, я хотел кому-то мстить и кого-то убить, когда вырасту большой. Я не понимал, отчего у нас так все происходит и кто виноват, отчего мать плачет, а ты угрюмо страшен, но чисто по-детски я ощущал, что здесь есть какая-то несправедливость, и что это плохо, если мать не смеется, ты не мастеришь что-нибудь в сарае, а корова не бегает кругами, вытянув хвост, а стоит на коленях и грызет холодную землю. Вот они, мои «светлые» воспоминания детства... Да и было ли вообще у меня детство? Ведь я с десяти лет работал за взрослого. Вроде я и не принадлежу к поколению, у которого детство украдено войной, и

даже отца у меня война не отняла, — но что, что отняло? — но все равно на иных документальных кадрах, где пашут и сеют ребятишки чуть побольше валенка, я узнаю себя и испытываю приступы такого безысходного, вселенского одиночества и горя, которое за детей, слава богу, жизнь положила переживать только взрослым. Если я и помню что-то светлое, то это связано преимущественно с матерью или чисто детскими забавами, но стоит мне представить тебя, отец, как они тут же начинают окутываться страхом, перемешиваться со слезами, настаиваться на каком-то мрачном, тяжелом молчании. Ну вот хотя бы. Ты работал тогда в кузнице, и я постоянно играл, крутился где-нибудь рядом. Мне понравилось, как трактористы важно и степенно отмывают руки в ведре с соляжкой, а потом долго, досуха вытирают ветошью, и однажды, когда рядом никого не было, я сунул руки по локоть в ведро, чтобы так же чисто смыть свою детскую грязь. Но в ведре оказалось густое машинное масло, я вынул руки не чистыми, а совершенно черными, и это было так неожиданно и так страшно, что я заревел в голос и кинулся, вытянув эти непонятные руки, к тебе. Гришка-молотобоец и еще кто-то в кузнице, увидев мое горе, заржали. Ты же, не говоря ни слова, схватил меня за шиворот, ополоснул мои руки в солярке и дал такого шлепка, что я кувырком вылетел на улицу. Я до сих пор, отец, помню ту тишину, которая вдруг наступила в кузнице, и, кажется, даже слышу, как в этой тишине гудит в горне разожженный уголь. Зачем ты меня так ударил тогда? Что я опростоволосился я, смеялся надо мной, мужики одновременно смеются и над тобой? А ты насмешек не терпел и обид не прощал, тебя знали и побаивались не только в семье. Но я ведь был ребенком, можно было приложиться и полегче. Кого ты опять тогда ударил? Ведь не меня только? Себя? Мать? Кого еще?..

Не знаю, говорил ли ты хотя бы в молодости матери «люблю», я от тебя этого слова не слышал ни разу. Иногда, правда, находясь в особом расположении духа, ты щекотал меня пальцем, ерошил волосы, подбрасывал в воздух, и я довольно смеялся

и тихо таял от этих грубых проявлений отцовской любви. Но я помню, отец, как ты, вроде бы защищая, нагнал на меня такого ужаса, что я бредил потом и кричал несколько ночей подряд. Тот же Гришка-молотобоец, огромный веселый парень, говорун и растяпа, по простоте душевной подсунил мне расклевенную в горне и остуженную до сине-го цвета замысловатую железку. Я схватил ее и завопил от неожиданной боли, словно меня проткнули ножом. Правда, я тут же стих, догадавшись в чем дело, лишь слезы обиды капали на мои ладони. Но ты, отец, изменился лицом, взял с наковальни молоток и молча пошел на Гришку... Тот побледнел, затрясся, наверно у него отказали ноги, и он, слабо отступая к стене, лишь лепетал не своим каким-то, шелепящим голосом: «Дя-а Вась, ты что, что ты, дя-а Вась...» Ужас сколов меня. Я видел, я чувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное, самое-самое плохое, произойдет такое, что не будет уже ничего, ни тебя, ни меня, ни матери, не будет солнца и лета, сейчас все кончится и останется только этот ледяной ужас и темнота... И уж действительно непонятно, какие силы, наверное сама земля толкнула меня, и я кинулся тебе в ноги:

— Папка!..

Кого ты хотел тогда убить в лице этого Гришки? Кого, отец?.. В какие уголки твоей души или памяти возникла мой детский крик, что ты вскипел таким страшным, бессмысленным гневом?..

И моему появлению на свет, по словам матери, ты был рад. Но опять же, каким неестественным образом вылилась твоя любовь, какого страха натерпелась мать, когда не уследила меня, и я в девятимесячном возрасте заболел ангиной и двусторонним воспалением легких одновременно. А не уследила почему? Да потому, что, работая в совхозе, она еще тянула на себе и все хозяйство дома — ты, кроме своей кузницы, ничего знать не хотел. Ты, видимо, не считал все это своим и боялся признаться, что живешь в общем-то в примаках. Ты — и в примаках, как самый никчемный и безвольный мужичишка! Ведь дом, в котором вы жили, в котором я родился и где

сейчас мать, срубил из старого амбара дед Егор, после того как их согнали с хутора, и только после войны ты немного подправил его да перекрыл дранкой крышу. Тебе, с твоей хваткой и силой, требовался размах, но в то время подобные деяния не одобрялись, приходилось довольствоваться тем, что есть, и ты все это житье считал, видимо, временным, ненастоящим, а матери приходилось горбатить за двоих, и не уберегла она меня...

Я задыхался в хрипе, был при смерти. Фельдшер, приехавший раз в неделю в сельсовет, осмотрев меня, сказал, что я безнадежен и везти в район не имеет смысла, там тоже ничем помочь не смогут. Но ты, выслушав плачущую мать, сказал: «Вези!» — «Но на чем, Вася? Вечер уже, выхлопочи хоть коня!..» — «Как простудила — так и вези. И если сынок помрет — домой не возвращайся... Таких тюрем, какие я прошел, у нас нет».

И мать глядя на ночь со мною на руках отправилась в район, за тридцать верст, пошла пешком, да что там пошла — побежала, раздавленная горем и ужасом... Где-то на полпути ее догнал грузовик на трех с половиной колесах, но шофер попался стерва, и как мать его ни умоляла, взять в кабинку отказался, — боялся, что я заразный? — и остальную часть дороги она тряслась в кузове, закрывая меня собой от ветра и пытаясь согреть. В больнице люди оказались милосерднее и взяли нас сразу же, ночью. Время было послевоенное, лечили в основном градусником, меня через каждые два-три часа, накрыв одеялом, держали над распаренной сосновой хвоей. И я выжил...

Помогла хвоя? Как я теперь понимаю, не только хвоя. Ведь как ты повел себя дальше, отец, как ты повел себя... Трудно тебя понять, я не могу найти ту грань, где любовь и ненависть разделяются в тебе, в твоей душе больше, по-моему, дикой, несокрушимой первобытности, чем понятной человеческой сложности. И поэтому ты страшен, отец... Ты вытащил из сарая во двор верстак и на виду у всей деревни принялся делать для меня... не гробик, нет, — кроватьку! А сделав, покрасил ее в радостный зеленый

цвет, что было совсем уж в диковинку, и она долго сохла на верстаке, и древние старухи крестились на нее с большака — все знали, в каком состоянии меня отправили, знали твой характер и какими словами ты проводил мать — сестра разнесла по деревне. И случавшиеся в районе люди рассказывали обо всем матери, и она плакала, и в слезах этих была, как я понимаю, одна лишь безоглядая любовь и благодарность, были умиление и любовь такой силы и высоты, что умереть я уже просто не мог. И я выжил.

Когда мать привезла меня домой и положила в твою кроватьку, ты посмотрел на меня, громко высморкался и вышел вон... «Нет и нет, нет и нет. Я во двор: Вась, а Вась? — зову. Ни гулу. Выглянула за сарай, а он сидит на жердях, глядит в пустое поле, а по лицу слезы, слезы...» И тогда мать убежала, забилась куда-то в угол и разрыдалась сама...

Что ты оплакивал тогда, отец?.. Моим выздоровлением ты опять что-то кому-то хотел доказать, это я чувствую только потому, что во мне твоя кровь, но что именно — я уже не понимаю. Если бы я умер — это было бы опять проявлением твоей ненадежности и то страшное обещание, данное тобою матери, уничтожило бы вас обоих. А с моим возвращением жизнь для всей нашей семьи не кончалась. Это?.. Или что-то еще виделось тебе в том пустынном осеннем поле, отец?.. Вы с матерью, прячась друг от друга, рыдаете врозь, а я лежу в зеленой кроватьке где-то посредине... Что за стена окружала меня и не давала вам соединиться надо мною?..

А потом вы разошлись окончательно, и я не стал тем что называется безотцовщиной только потому, что моя мать была твоей женой, отец, она была одержима некой доказательной мезью и воспитывала меня дай бог каждому пацану, она лепила из меня человека, чтобы доказать тебе, что и одна она не пропала и поставила мальчишку на ноги, когда ты женился на старости лет — это бес, бес его водит! — на молодой, это сейчас вы внешне почти сравнились с теткой Нюрой, а ведь она на двадцать лет моложе тебя и на четырнадцать моложе ма-

тери, ты не просто ушел к бабе, как раньше, а ты женился, расписался с молодой, и матери, которая — вот уж никаких сомнений быть не может — никогда не изменяла тебе, было, наверное, очень больно. И она пестовала меня так, как бы ты был, и в то же время так, что тебя все-таки не было. Да, все я вроде умею, и унитаза починить, и пилу наточить, и вбить в бетон гвоздь, но все равно только теперь я начинаю осознавать, что многого во мне недостает, именно того, что впитал бы я, будь ты в доме. Я недополучил, сын мой будет обделенным еще в большей мере, и так дальше, так дальше... К чему, к какому пределу это приведет нас? Должен же быть какой-то предел, а то ведь и подумать страшно. Или к человеку математика не применима и он сумеет сам вновь приобрести то, что недобрал от предков?.. Вот и сейчас, почему я так думаю? Да потому, что вырос без тебя, а только с матерью, с женщиной, а был бы ты, и не возникло бы этих вопросов в голове моей. Делал бы я свое дело, да и точка. Но у меня ты и мать всегда перед глазами, и не думать об этом я не могу. Я не могу, как твой Маркел, освободиться от седла и побежать в чистое поле. Мир уже не представляется мне тем полем, по которому бродят женщины и кони. Того поля, в которое ты отпустил своего Маркела, нет, отец, ты сам это знаешь, и мне его увидеть не довелось. Ты видел мир цело и просто, пока он с треском не раскололся. В таком виде я и воспринял его от тебя, я вижу его разъято, незаконченно, и сам я между городом и деревней, так здесь, наверное, где-то и зависну. Мы для чего-то хотели сравнять деревню с городом, потом передумали, и сейчас горожане пытаются построить некую новую деревню, но неизвестно для кого — сами они в ней жить не хотят, мне она не нужна и тебе ведь, отец, тоже, а для чего она тогда? И для чего надо было все уничтожать, чтобы теперь, расписавшись в ошибках, возвращаться к прежнему и создавать заново? А за ошибками — миллионы и твоя жизнь, отец. Для чего ты ее прожил? Ведь ты уходишь из этого мира как-то невнятно, тебе не удалось доделать

какое-то простое и обязательное дело, ради которого рождается каждый человек. Ты чужд всякой сумятице и метанию, а жить тебе пришлось в самый сумятный век. Ты в одиночку пытался противиться ходу времени, во многом видя неверность происходящего, и как ты выстоял, как ты хотя бы вот физически остался — я не понимаю...

Утром Андрей открыл глаза и увидел, как заря горит на замороженных оконных стеклах. Топилась печь, он слышал, как потрескивают в огне сухие поленья и как переговариваются вполголоса отец с теткой Нюрой. Сладкая истома, как в детстве, мягкими, тесными шарами толкалась по телу, и Андрей закрыл глаза, боясь спугнуть этот мираж, он знал, что такие мгновения не повторяются, да и случаются все реже и что их нужно беречь в себе, как бальзамные капли. Засыпая, он слышал, что надо отвезти смолотое сено на муку для поросенка, что придется выписывать трактор пилить дрова, потому что самим не справиться, а расколоть, говорил отец, расколю сам, сяду и буду тюкать. Потом он спросил, списала ли тетка Нюра про помидоры. Вчера Андрею понравились помидоры из банки. Красные, они, однако, были не размоклые, а упругие, тугие, Андрей съел почти все, выпил кружку маринада и попросил рецепт. Тетка Нюра сказала, что да, написала. Не забудь отдать, сказал отец, и после этих слов, чувствуя себя почти ребенком, Андрей снова уснул. Спал он, видимо, недолго и разбудил себя сам внезапной мыслью. Сладкие мгновения, чертыхнулся он, резко поднимаясь и спуская с кровати ноги. Ведь мать просила зайти в тутошную аптеку и посмотреть для нее лекарство от давления. Пустая коробочка с названием лежала у него в пиджаке. Еще дома, прочитав вкладыш, Андрей понял, что без рецепта такое лекарство не дадут, но рецепта у матери не было, и он не стал ей ничего говорить, сказал только, что посмотрит. Попробуй объясни ей, что сейчас без рецепта можно взять только йод да вату, и те не всегда бывают. Какая-то Зинка ей привозила, и это были все ее аргументы, и Андрей подумал, что если он попытается их

опровергнуть, мать может понять его неправильно. Впрочем, здесь, в деревне, возможно и нет тех строгостей, что в городе. Сухим кейфом здесь, слава богу, не увлекаются, да и одеколон мужики не пьют, а пьют они, если не «казенку», то свой добрый домашний самогон.

Есть не хотелось, Андрей выпил чаю с медом, спросил про аптеку.

— Сходи прогуляйся, только есть ли там что, — сказала тетка Нюра.

— А, — махнул рукой и отец, — дали мне натираешь, ноги, говорю, мерзнут и шабаш. Пять пузырьков стер и не понял...

— Согреешь твои ноги...

— А хоть костерок под собой раскладывай, — согласился старик.

Андрей шагал по залезанной тракторными саями дороге, обрывочно вспоминал вчерашний разговор с отцом и поглядывал на озеро, на котором там и сям чернели фигурки рыболовов. А дорога все вилась и вилась вдоль берега, и озеро разворачивалось и открывалось по-новому мерно, широко, неторопливо. В красивом месте поселился батя, не в первый раз подумал Андрей. Село рассыпалось по крутому берегу, и он представлял себе, какой превосходный вид открывался из окон иных домов, стоящих высоко, фасадом на юг и на озеро. В прошлом здесь было имение какого-то графа с немецкой фамилией. От главной усадьбы не осталось и следа, но сохранились некоторые хозяйственные постройки из камня и красного кирпича.

Андрей шагал по дороге, засунув руки в карманы, и думал, что ладно, с сестрой все ясно, но ведь и у него самого не так все гладко, как кажется. Еще до свадьбы тесть поинтересовался, есть ли у него военная специальность. Да, в институте была военная кафедра, и после окончания он год отслужил в инженерных войсках, принял присягу, сейчас старший лейтенант запаса. Что ж, очень хорошо, сказал тогда тесть, у меня остались знакомые, можно будет перейти под крышу какого-либо военного ведомства, будешь зарабатывать значительно больше... Тесть был по выслуге на пенсии, работал в редакции военной газеты на полной ставке и каждый месяц приносил в дом негорючих четыреста

рублей. Кроме того, Андрей знал, у тестя всегда достаточно в кармане, чтобы выпить в кабачке со своими сослуживцами или старыми приятелями по армии по сотке под какой-нибудь малосол или балычок. У него же такого приятного шелеста, особенно после того, как женился, в кармане не наблюдалось. Он обещал тогда подумать. Но ни о чем думать он, собственно, и не собирался. Для него было ясно, что никогда он на это не пойдет, не его это дорога, перелицовывать себя поздно, да и пройти бесследно это не может. Он привык всего добиваться сам, так уж он воспитан, и квартиру он получил законным, отстояв пять лет на очереди. Хотя, в принципе, ничего зазорного в предложении тестя не было, все породственному, для общего блага, так сказать, другой бы уцепился двумя руками, но ему, признаться, даже само это предложение было неприятно. Больше никто в семье об этом не заговаривал, Андрей тоже молчал, но чувствовал, что от него ждут, ждут, когда он вспомнит, и тесть ждет, и теща, и сама жена. Забеременев, она начала поскуливать, что вот родится малыш и потребуются дополнительные деньги, а он отмалчивался, понимая, куда она гнет, а про себя думал, что деньги нужны будут не такие и большие, будешь пореже туфли да бюстгальтеры менять, вот и все решение на первых порах, а там видно будет. Пойдешь к тестю на поклон — а он, возможно, уже что-то и прозвонил и осталось совсем немного сделать, чтобы идея сработала, — и будешь потом вечно перед ним в неоплатном долгу. Действительно неоплатном, потому что на такие услуги и отвечать надо подобным же образом, а чем он, рядовой строитель, каких в городе тысячи, может помочь такому зубру, мужику со связями и крепким здорьем?

И если вот без дураков подумать, то это ведь гораздо серьезнее, чем, скажем, какая-нибудь там банальная измена, если здесь лопнет, то разойдется так широко, что никаким развором не свяжешь. И как же тогда быть?.. Надо серьезно с ней обо всем поговорить, решил Андрей, а не молчать. Она

должна меня понять. Это же в ее интересах, в интересах нашей семьи, черт возьми, подумал Андрей и достал сигарету. А эти поездки к родителям через весь город надо пресечь. Достаточно видеться по праздникам. Хорошо хоть телефона нет, а то бы беда. Да, но как пресечешь, когда она скоро родит и тут уж без бабки взвоешь, тут уж сам бог велел ей быть. Ну, дела! — уже вслух сказал Андрей, удивляясь и чему-то невольно радуясь...

Дорога от озера вскарабкалась на гору, и тут же, на первом крашеном доме, Андрей прочитал: «Амбулатория». Видимо, здесь, подумал он. На двери под стеклом висело аккуратно выведенное расписание: терапевт принимает тогда-то, стоматолог тогда-то, хирург тогда-то, и от имени всех на тетрадном листке, приколотом кнопкой, было написано: «Ушла по вызовам». В районе свирепствовал грипп, школы были закрыты на карантин, и ждать здесь, у дверей, было нечего. Придется поискать в Ленинграде. Он сошел с крыльца и тут вспомнил, что отец говорил «сразу за кладбищем». Но никакого кладбища не было. Справа озеро, впереди, за деревней, поля и потом лес, слева высокий холм, тоже покрытый лесом. Или это не аптека?..

Андрей подождал, пока с ним поворачивается одинокая женщина с сумкой и спросил:

— Мать, аптека здесь находится?

— Тут, да вишь, закрыта.

— Да, закрыто, — кивнул Андрей.

— Закрыта, сынок, — кивнула и женщина и пошла дальше.

Кладбище — это, видимо, просто место так называется, решил Андрей и зашагал обратно. ЗИЛ, груженный торфом, нагнал его на спуске, и, пропуская машину, Андрей взобрался на метровый отвал на обочине. Черт, как они тут разъезжаются, подумал он, глядя вслед лихачу, дорога была совсем неширока. С отвала он увидел отходящую в сторону от дороги узенькую, стежком, тропинку в снегу. Тропка, зажатая лесом, маняще струилась по гребню между двумя впадинами, и Андрей ступил на нее. В одном месте ее пересекала лыжный след, но в остальном лежала нетронутая белая целина, ели стояли мертво, и лишь самые высокие из них пошевеливали

вершинами. Вскоре тропинка стала забирать вправо и вверх, и когда Андрей в очередной раз поднял голову, то, удивленный, остановился.

На оголенном холме, непоколебимо и разлаписто, как дубовый пенёк, стоял остов храма из красного кирпича... Ага, вот где кладбище. А древняя там, внизу, и из-за леса храма оттуда совсем не видно...

Андрей обошел вокруг, любящая чисто профессионально мощностью и надежностью кладки. Свяжущим материалом тогда применяли известь. Гасили ее по-особому, с добавлением молока и еще чего-то, в ямах, по несколько лет. Почему она в этих ямах не превращалась в монолит — непонятно. Секрет утрачен. Поливали ее, что ли, постоянно? Но это же невозможно: пять-десять лет ежедневно лить воду! И надо же еще перемешивать. А зимой?.. А схатывала она навечно. Красный кирпич, тоже прочности завидной, на обдуваемых, сырых местах десятилетиями может выветриваться, и тогда стены становятся похожими на пчелиные соты — от известковой прослойки не отстает ни крупинки. Одно дело утратить секрет глазури самаркандских минаретов, которым тысячи лет, и совсем другое — забыть спросить своего деда, как он гасил известь. А дед ушел с ружьем и не вернулся. Или слег в борозде — и все?

Андрей вдруг осмотрелся заново, словно только что здесь оказался. Кресты... Стены почти без надписей — рядом кладбище, — одна есть необычная: «Ты трус!» Кто-то кому-то назначил здесь свидание, видимо, ночью, и один из них не пришел... Кресты, кресты... На некоторых — замороженные бумажные венки... Что он здесь? Зачем он тут стоит? Зачем ему это кладбище, где покоятся совершенно незнакомые ему люди, когда все его праотцы лежат на другом, и где до сих пор еще работает, извещает о себе по праздникам колоколами деревянная зеленая церковка, почему он здесь стоит, среди этих чужих крестов, и слушает, как в ржавом, прошитом автоматной очередью куполе гудит верхний лесной ветер?..

ЗА ЛЕСОМ ДОЛГИМ И ЗА ЛЕСОМ КРУГЛЫМ



◆ Русский поэт и переводчик Александр ЧЕРЕВЧЕНКО родился в 1942 году. После окончания средней школы в г. Харькове был матросом, учился в Черноморском высшем военно-морском училище, окончил Литературный институт им. А. М. Горького СП СССР. С 1971 по 1984 год А. Черевченко живет в Магадане, с 1984 г. — в Латвии. Работал в газетах, был собором дальневосточной радиостанции «Тихий океан», первым помощником капитана дизель-электрохода «Гуцул». Издал 9 книг стихов, среди них: «Русское море» (1964), «Колесный пароход» (1969), «Подсолнух» (1973), «Верховья разлуни» (1976), «Ольсний тракт» (1981), «Охотоморский снегопад» (1986). Переводил стихи украинских, латвийских поэтов, поэтов народностей Крайнего Севера и Дальнего Востока.

* * *

Тепла на Колыме хватает.
Но даже летом, вот беда,
в глухих ущельях снег не тает
и не растает — никогда.

Нигде не спрятаться от зноя,
Вокруг расплавленная синеь.
И хвои кружево резное
стыдливей наготы пустынь.

Но это логовище страха,
застывший ужас неземной
в испуге облетает птаха
и зверь обходит стороной.

Лишь им,
на счастье или горе
живущим в вечном полусне,
знать не дано о приговоре,
известном и тебе и мне.

И вечный снег
в немом провале
не тает, чтобы ты и я
в определенный миг узнали
холодный лик небытия.

* * *

После стольких недель непогоды
предрабасветной порой, в тишине
непривычное чувство свободы,
как обида, проснулось во мне.
Реалист и противник иллюзий,
я себе говорил: «Погоди!
Ты давно ведь не мальчик безусый,
у которого все впереди!
Ты давно не восторженный мальчик,

выбирающий жизненный путь,
и рассвет, что в окошке маячит,
не способен тебя обмануть.
После стольких недель непогоды,
после бурь и дождей — без числа
это просто улыбка природы
на рассветный лиман снизошла...»
Да, но глядя в бездонное небо
и не в силах постичь глубину,
снова падает в обморок нерпа
и идет по спирали ко дну.
Да, но ветер прощально и горько
облака над лиманом пронес,
и — рванулась от пирса моторка,
задирая обветренный нос.
И во славу светлейшего утра
разнотравье, подобно рукам,
протянула рассветная тундра
к улетающим прочь облакам...
И я понял, что нет здесь обмана,
что далеко — в родные края
над бессмертным простором лимана
пролетела свобода моя!

ОРГАН В ДОМСКОМ СОБОРЕ

Облака умирают
светло, благодарно, счастливо
над старинным собором,
над вечным простором залива.
Озаренные солнцем,
над милой землей пролетают
и приветливым ливнем
в ладони твои опадают.
Облака умирают...
Высоких туманов частицы
мне приносят на крыльях
бессмертные черные птицы.
Я даю им с ладони
черешен, гвоздики и хлеба,
а в зрачках неподвижных
клубится безумное небо.
Как умру я — не знаю,
однажды и это случится.
Покружат надо мною
бессмертные черные птицы.
И, не видя печали
в зрачках мертвеца неподвижных,
к облакам мою душу
подымут на крыльях неслышных.
Чтоб она с облаками
светло, благодарно, счастливо
над старинным собором,
над вечным простором залива
озарилась лучами,
безропотно с небом простилась
и приветливым ливнем
в ладони твои возвратилась.

ЗА ЛЕСОМ ДОЛГИМ И ЗА ЛЕСОМ КРУГЛЫМ

За лесом Долгим и за лесом Круглым
бесшумно по равнинам, по яругам,
росу роняя, стелется туман.
И, соблюдая вековой обычай,
на юг, на юг с негромким стоном
птичий
невидимый проходит караван.

За лесом Круглым и за лесом Долгим
под молчаливым месяцем двурогим
стучат копыта по ночным дорогам,
внезапный вой пронизывает тишь.
И вновь — безмолвье. Горькая прохлада.
И с шелестом ночного листопада
сухой перекликается камыш.

Где ты теперь?

Ты и теперь — со мною.
Ты стала тьмой, туманом, тишиною,
смятением крыл на трассе вековой.
Услышь меня! В слепых глазницах ночи
твою улыбку вижу я воочью
и различаю хрупкий облик твой . . .

За лесом Долгим и за лесом Круглым
бесшумно по равнинам и яругам,
росу роняя, стелется туман.
Но не спешит за ним народ оседлый —
спят хутора Широкий Яр и Светлый,
тревога — ложь, бессонница — обман.

Когда-нибудь постигнем мы науку
безропотно переживать разлуку.
И, вспоминая эту осень вдруг,
ты про себя отметишь с интересом,
каким смешным и странным
был твой друг
за тысячей немых равнин, яруг,
за Долгим лесом и за Круглым лесом.

* * *

Сколько на земле ни проживу,
ни горчайший в мире листопад,
ни хмельную первую листву,
ни рассвет над морем, ни закат
больше ни во сне, ни наяву
именем твоим не назову.

Пусть же впредь — отныне навсегда
будут зваться именем твоим
ржавая болотная вода,
сорная трава и мертвый дым,
гордое добычей воронье
да звезды стальное острие
над кровоточащим столько дней
пепелищем памяти моей.

Снег летит на дебаркадер,
тоненько звеня.
Через три минуты катер
увезет меня.
Доски мокрого причала,
горьковатый чад.
Наше первое прощанье —
нечего прощать.
Что поделаешь — усталость,
сердце не сберечь.

Вот уже
 не состоялась
вечность наших встреч.
Вот уже
 с беспечным звоном
заметен твой след
миллионом, миллионом
ледяных планет!
Был на каждой

 дебаркадер
и причал в снегу.
Увозил кого-то катер
навсегда в пургу.
Вечная метель разлуки,
сумасшедший круг!
Чьи-то пламенные руки
гасли на ветру . . .
Тишина. Огромный город
в маленьких огнях.
Катерок, он очень скоро
увезет меня.
От домов многоэтажных,
театральных касс,
от твоих больших, протяжных,
непродажных глаз.
На виске забьется жилка,
но в последний миг —
вечность тающей снежинки
на губах твоих.

ПРАВДА БЛИЖНЕГО

Я говорю вам, но в то же время я говорю себе. Ибо, если мы хотим сказать нечто важное другим, мы должны начинать с себя. Отношение к себе — первая и лучшая проба отношения к другим — дальним и ближним.

Безжалостность и терпимость — два антагонистических вещества, но они вступают в химическое соединение, если дать их в формуле: безжалостное отношение к себе плюс терпимость к ближнему.

Именно такая формула выражает для меня гармонию человеческих отношений.

Долго и непросто шел я к ее пониманию. У меня была жизненная школа, которая не оставляет выбора: в начале шестидесятых я был арестован по обвинению в политическом преступлении. Жизнь доказала его абсурд, но семь долгих лет мне пришлось провести в суровых условиях. Главная заповедь, которую я понял и затвердил на всю жизнь, проста — нельзя себя жалеть. В те годы мне пришлось жить рядом с людьми, которые сокрушались, сетовали на судьбу, жалея себя. Жалость по отношению к себе — сладкий наркотик, многих разрушавший у меня на глазах. Ощущение себя страдальцем точит, как червь, и чувство это все время растет, оправдывая все твои поступки, даже самые низкие, ибо у тебя всегда есть одна мысль: ты жертва, которая нуждается в снисхождении. Размываются нравственные критерии, уступая место одно-

му — озлоблению. И тогда ты видишь только себя — ты не видишь никого. Я говорю: как бы ни были тяжелы условия, в которых приходится жить и работать, человек должен сохранять в себе мужество и чувство товарищества, всегда видя тех, кто с тобой рядом, — пусть даже ты и не разделяешь их взгляды. Это я называю старым и прочным словом «честь».

Да, в экстремальных условиях сохранение чести и порядочности с жестким, неуступчивым отношением к себе и стремлением понять ближнего — неременное условие сохранения себя как личности. Но и в нормальной жизни, в нормальных условиях должно непреклонно следовать тем же правилам.

Каждый человек имеет свою правду. Пусть мизерную. Но это его правда. И моей она никогда не станет. Мы можем быть солидарны, но в чем-то всегда будем различаться. Я никогда не поступлюсь своей правдой, но это не должно мешать мне идти по пути понимания правды других.

Я возвращался в литературу в конце шестидесятых годов. Была готова к печати моя книга. Она долго ждала встречи с читателем. Думаю, пойди я на какие-нибудь изменения в ней, путь ее в жизнь был бы короче. Но в то время у меня уже не было ни желания, ни необходимости спешить. Я имел время подумать. Я прошел свою школу и знал, что любое твоё действие связано с дру-

гими людьми, любой твой поступок, говоря языком литературы, прочитывается в контексте. Это надо всегда иметь в виду, а не просто оглядываться по сторонам: не видел ли кто тебя, не слышал ли кто твоё слово? Связанный со своим поколением в жизни и литературе, я твердо понимал, что любой компромисс, неприемлемый для меня, неприемлем и для него. Человек, который берет на себя смелость обращаться к другим и изменяет своим принципам, деморализирует людей. А так легко было изменить себе... Мне могут сказать, что об этом никто бы не узнал. Ну, немного подправил бы текст, выкинул бы те или иные слова... И все в порядке. Но нет. Тщательно замаскированная фальшь, фальшь даже не текста, а контекста — она все равно всплывет, проявится наружу. Все тайное становится явным — наше время доказывает эту старую истину.

Хочу быть понятым до конца: не в том дело, чтобы носиться со своим, пусть даже высоко нравственным кредо — это всегда вызывало у меня подозрение. Есть поведение более скромное и более трудное — не сдавать свои принципы и только работать. Демонстрация своей нравственной правоты, своей нравственной чистоты близка к подчеркиванию, выпячиванию, возвышению своих достоинств. Лучшие люди просто были порядочны наедине с собой, когда никто не принуждал к этому. Именно наедине с собой. Самое страшное — не тогда, когда кто-то плюнул тебе в лицо, а когда ты сам себе плюнул. Это не забывается. Ощущение, что ты предал самого себя, грызет стальными зубами. Всю жизнь в тебе живет гадливое чувство слабости. И если ты однажды поддался искушению простить самого себя, то начнешь подличать сначала по мелкому, а потом и по крупному счету.

Честь никогда не была нарядом. Скорее — оковами, нелегкими, утомительными в повседневности. Тем более, что еще вчера жизнь преподносила нам массу примеров: стоило чуть отступить в сторону от честного пути, и ты был более чем вознагражден. В жизни каждого из нас есть примеры, когда самые честные и достойные ломались, изменяли се-

бе, не в силах противостоять искушению... Вспомним каждый себя.

Но в человеке должно найтись то, что поможет противостоять любому искушению в любом гефсиманском саду. Я говорю о... как бы точнее выразиться — об осознании собственной миссии. Может, в этом сущность латышской ментальности, латышского характера — то, что мы воспринимаем это понятие не столь возвышенно, столь надо. А между тем лишь осознание своей миссии рождает чувство долга и не столько в абстрактном объеме, сколько в конкретном деле. И тогда возникает и укрепляется обратная связь: я могу утвердиться в своей миссии, только увидев конкретные результаты своей деятельности, увидев, как то, что я творю, воздействует на окружающих, — они воспринимают плоды моих рук и мышления как свое собственное и им легче становится жить... Пусть не легче — столько я на себя не беру. Но яснее. Вот тут человек начинает чувствовать, что уже принадлежит не только себе.

Вспоминаю стенограмму суда над русским поэтом. Тогда он был еще юнком, а не всемирно признанным лауреатом Нобелевской премии 1987 года. Его судили за... тунеядство. Иосиф Бродский действительно не ходил в присутственное место, но, как утверждала другая русская поэтесса Анна Ахматова, в поте лица трудился — писал и переводил стихи. На вопрос судьи: какая у вас профессия, он ответил, что считает себя поэтом. Судья оборвала его: «Кто вам это сказал? Кто вас назначил поэтом?» Странна и дика была сама постановка вопроса: кто может назначить тебя поэтом, если ты сам осознаешь свою миссию, поскольку слово твоё отзывается в людях.

Не впадает ли поэт в грех гордыни, утверждая такую ересь с точки зрения правоверного судьи? Нет. Писатель, художник, поэт никогда не может быть «хорошим христианином» по одной причине — он еретичен по своей сути. Он все время сомневается в вере. Его профессия — соперничать с богом. Он создает свой мир. Он не подчиняется никому. Он строит этот мир по своим законам порядочности и чести, и если он изменяет им, **его**

мир рушится. И эту участь он выбирает сам. Даже меру своей несвободы поэт выбирает сам. Выбирает сознательно. Как можно жестче, не жалея себя, не прощая себе. В этом его свобода.

Свобода эта трудна. Счастья и радости куда меньше, чем плевков и унижений. Но осознание своей миссии в миру людей искупает все.

Я говорю это себе и в то же время говорю вам. И если вы мне скажете, что не все в мире поэты, я отвечу: нет, все. Но как жаль, что большинство не знает об этом. Каждый человек, что бы он ни делал, достоин того, чтобы его душа пела. Каждый достоин своей миссии. И в этом смысле никто не лукавит, когда говорит, что в каждом живет создатель, поэт.

Скажу больше: в том же, в каждом живет и критик, но большинство тоже не догадывается об этом. И если он, как и поэт, осознал свою миссию и прорвался в мир, он тоже встретится с тем же надежным словом «честь», не позволяющим лукавить.

Мне приходилось работать в области литературной критики. Порой случается даже своим друзьям говорить неприятные слова. Понимают ли они меня? Не обижаются ли? Сомнения такого рода преследуют меня, но я пишу то, что думаю, потому что, начни я лукавить, стараясь быть хорошим для всех и никого не обидеть, даже те, кого я хвалю, установят мне цену. Когда выходят первые книги молодых и способных поэтов, я нередко первым беру слово как критик, имея только одну заботу: не отдать новый талант в руки льстеца. Был случай: чувствительная молодая коллега расплакалась от обиды, читая мою статью о ней. Я сказал: если тебе не претит, как твои друзья мажут тебя медом, если даже ты веришь им, а не мне, тебе все равно придется решить проблемы, которые я обнаружил в твоих стихах. Когда-нибудь. От этого не уйдешь. Из всех плодов земли полезнее всего горькая правда. Да, эта правда моя. Но, имея свою и мою, может быть, ты найдешь посредине истину.

Сколько людей утверждали свою правду! Сколько открытий и правил изречено, начиная от Библии или шу-

мерских рукописей! Сколько зачеркнуто в полемическом запале! От «Искусство для искусства!» до «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» Ничто не верно, кроме того, что лежит посредине. Не август, не ноябрь, а то, что между ними — толща народных проблем.

Лучшие из классиков, чьи имена мы чтим и теперь, были порядочны и честны именно тем, что, не впадая в крайность, вслушивались и всматривались в толщу народа, пытаясь понять любого человека, даже самого маленького, даже преступника — они и в нем искали «душу живу». Поэтому и считает народ самой светлой личностью в латышской литературе Рудольфа Блауманиса, что он, не скрывая своих симпатий и антипатий, любому герою, даже самому ничтожному, дает возможность высказать свою правду и жить по своей правде. Под пером Блауманиса человеческие драмы возникают не потому, что один хорош, другой мерзок, а потому, что сталкиваются разные правды людей, как это и бывает в жизни. И если мы учим школьников запоминать даты создания произведений, то почему мы не учим их главному — культуре отношения к чужой правде, терпимости к чужим убеждениям! Если бы учителя настаивали их этому, они лучше бы поняли не только литературных героев, но и то, что происходит вокруг них — в жизни. И может быть, это сделало бы их более счастливыми, или, в всяком случае, дало бы им большую ясность. Не случайно Гриффит назвал самый лучший свой фильм словом «Нетерпимость», считая это понятие самым большим злом в окружающем мире.

Особенно важно этому учить сейчас, когда мы обрели наконец право голоса. Точнее, обретаем его, поскольку демократия лишь набирает силу. И чем отчетливее будут звучать наши голоса, тем ответственнее мы должны относиться к нашему слову, ибо давно понято, что слово — это материальная сила. Помните у Гумилева: «Солнце останавливали словом, словом разрушали города»? Слово может быть лечебно, но и губительно не только в устах поэта. В нашем повседневном человеческом

общении сказанное слово по существу обретает физическую силу того самого малого камня, который строгивает лавину. Сказано Тютчевым: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» — поэт понимал, как неоднозначно слово.

Я думаю, культура нашего общения и есть понимание неоднозначности сказанного. Способность это понимать и тогда, когда мы говорим, и тогда, когда слушаем.

Давайте учиться этой культуре у наших дайн, которые лишь потому

тонки и мудры, что многозначны. Мне кажется, что ни в каком фольклоре нет такой стройной этической системы, выраженной в законченной поэтической форме, какая заключена в дайнах. А это потому, что многозначие слова соединило в них утилитарный смысл с высокой поэзией. Вот одна из строк — я передаю ее своими словами: «Бог медленно спускается в долину, чтобы не потревожить ни цвет черемухи, ни коня пахаря». Вы слышите, как все тут неоднозначно?

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Корни активного развития современного латышского плаката лежат в почве первой половины семидесятых годов, когда зрители и заказчики стали проявлять живой интерес к искусству плаката. Он стал обживать культурную среду, во всем объеме используя выразительные средства, присущие этому виду искусства. На небосводе плакатного искусства ярко вспыхнули звезды этого жанра — Илмар Блумберг, Гунар Кирке, Лаймонис Шенбергс, Юрис Димитерс.

В конце семидесятых годов начался новый этап в развитии искусства плаката: в кругу тем оказались глобальные проблемы и свершения нашего времени — тема сбережения мира и жизни на Земле, экологические проблемы, освоение космоса. Художники стали активно бичевать негативные отношения в обществе — алкоголизм, бюрократизм, бесхозяйственность. Авторы плакатов прямо обращаются к зрителю, используя и символику, и юмор, и острую сатиру. Одновременно плакатам стала свойственна отличная графическая культура, образность и парадоксальность художественного мышления, богатого ассоциациями.

В созвездии мастеров плаката выделяется дарование Лаймониса Шенбергса. За серию политических плакатов художнику была присуждена Государственная премия республики. Творчеству Л. Шенбергса свойственны элегантность графической формы и выразительный лаконизм. В своих работах «Звездным войнам — нет!», «Земля — бомба?» без пафоса и фразерства он достигает сильного эмоционального воздействия.

Юрис Димитерс широко популярен как автор парадоксальных, неожиданных по решению и остроумных работ. Он создал целый ряд плакатов, которые привлекают внимание и остаются в памяти — достаточно вспомнить его театральные листы. Или, например, предлагаемый вашему вниманию плакат «Какова работа — таково и вознаграждение», который вряд ли нуждается в комментариях.

Эмоциональным своеобразием и сдержанной элегантностью отличается плакат Гунара Кирке «Где тонко — там и рвется». Здесь воедино сплавлены высокая метафоричность и уровень обобщений, сдержанный рационализм и образная условность.

К признанным мастерам плаката в последние годы присоединились новые имена. Молодые отнюдь не стоят в стороне от дел и проблем, которые волнуют наше общество. Они ищут свой почерк, свои выразительные средства. В этом номере журнала мы знакомим вас также с работами Вилниса Дидрихсона, Ивара Майлитиса и Мариса Субачса.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Гарри ГАЙЛИТ

СКОЛЬЖЕНИЕ ВНИЗ ПО ВОСХОДЯЩЕЙ ВВЕРХ

Для тех, кто не читал романы Регины Эзеры и впервые знакомится с ее творчеством по рассказам и новеллам, вошедшим в сборник «Грибная лихорадка», проза этой очень популярной в Латвии писательницы, очевидно останется столь же загадочной, как загадочны ее женщины, и несколько тривиальной, подобно тому, как тривиально и примитивно все, что она пишет о мужчинах, без которых, однако, ни одна женщина в рассказах Эзеры обойтись не может.

Впрочем, если говорить о мужчинах, не все так просто, как это кажется с первого взгляда. Сборник открывается циклом из десяти рассказов, объединенных общим героем по фамилии Спрогис. Назвать его главным героем, пожалуй, нельзя. Автор, правда, не без иронии говорит, что это «всего лишь отрицательный герой, хотя и не совсем безнадежный, зато современный и типичный, то есть не без симпатичных черт и некоторых шансов перевоспитаться».

Привожу эту цитату потому, что она во многом проясняет структуру рассказов Эзеры, ее отношение к своим героям и к миру в целом. Людей и обстоятельства она показывает в их изначальной данности, как явления, в которых понамышано всего понемножку — и хорошего, и дурного, понятного и загадочного. Что-либо прояснить, проникнуться их судьбой, помочь им разобраться в себе — это не входит в задачу писательницы. В этом отношении она

не более чем бытописец. Конфликтные ситуации она разрешить не стремится, она их только констатирует, что, кстати, было вполне характерно для того «периода длительного застоя», когда создавались рассказы. «Кинозвезда» Инита из одноименного рассказа или Зелтите в «Письме из ниоткуда», что бы там ни случилось в их жизни, в сущности остаются прежними. Какие-то перемены, осознание своей ничемности — это фикция, одна видимость. Автор констатирует факт, рисует портрет, все не пытаясь и намекнуть на возможность выхода из того положения, в котором очутились, то есть постоянно пребывали, ее героини. И вот это в основном и снижает достоинства рассказов. Даже больше — обнажает их недостатки, выявляет, так сказать, недостаточность энергии художественного мышления автора.

Но вернемся к Спрогису. Сперва может показаться, что, воссоздавая в каждом рассказе один и тот же мужской образ, Эзера стремится понять мужскую психологию — неспроста же Спрогис демонстрируется нам в окружении женщин. Но вскоре мы понимаем, что произошла своего рода подмена, невинный обман. Спрогис понадобился автору лишь затем, чтобы через его восприятие показать нам женские характеры. А поскольку сам Спрогис парень весьма заурядный, «нормальный представитель своего ветреного (?) пола» и не более, то это в известной мере сказывается и на содержании рассказов. Они скучноваты по своей сути — нас не оставляет впечатление, что мы все это давно уже где-то читали, видели и

Эзера Регина. Грибная лихорадка: Рассказы / Пер. с латыш. В. Дорошенко. — М.: Молодая гвардия, 1986.

слышали. И действительно скучно: провинциальный городок, банальные коллизии, неглубокие, схематично построенные характеры и взгляд не изнутри и не проникающий в психологические дебри страстей человеческих, а какой-то поверхностный, скользкий, цепляющийся за бытовые мелочи. И если даже натякающийся с разбега на серьезную нравственную проблему (в том же «Письме из ниоткуда» или в рассказе «Человеку свойственно ошибаться»), то воспринимаящий ее чересчур уж просто. Пытаешься найти что-нибудь «между строк», какой-то сильный эмоциональный подтекст, порождаемое стиливыми приемами особое настроение. А там пусто, нет ничего, никакого хемингуэвского айсберга. Вместо него — льдинка.

Цикл рассказов о Спрогисе достаточно велик, чтобы не сказаться на восприятии остальных рассказов сборника. Написанные, по-видимому, позднее, они глубже, серьезнее. В «Зоологических новеллах» авторская мысль становится более упругой, психологически утонченной. Но мы уже «почувствовали» манеру мышления Эзеры, от нее нам никуда не деться. Даже в «Маленьких портретах», содержащих четыре психологических этюда, мы замечаем все ту же поверхностность, сухость, холодность. Как будто плуг идет по пересохой почве и не может проникнуть глубже верхнего слоя. Перед нами не прекрасное явление души человеческой, а что-то, скорей напоминающее отражение ее внешних проявлений. И написано вроде талантливее, мастеровитее, но... по восходящей вверх прямой мы все время соскальзываем куда-то вниз. Причина этому простая.

При всем желании, «Зоологические новеллы» мы не могли бы поставить вровень с «Рассказами о животных» маститых писателей-натуралистов. О чем бы ни писала Эзера — о кошках («Порог риска» и «Феномен Принцессы»), лосях («Лось»), кабанах («Загадочный Фердинанд») — ее рассказы таят в себе некую ущербность, что-то в них нас не устраивает и даже коробит. Что именно — понимаешь не сразу, иногда на это не обращаешь внимания. Но стоит вдуматься, стоит лишь сопоставить кажущиеся схожими понятия «зоологические новеллы» и «рас-

казы натуралиста», как вдруг откроется странная закономерность, присущая вообще многим рассказам писательницы, не только зоологическим. В них, как ни странно, преобладает не гуманное чувство человека, осознающего свое кровное, естественное родство с окружающим нас животным миром, а постоянное ощущение своего превосходства над ним и над природой как таковой.

Забравшаяся на сосну кошка («Порог риска») вызывает у рассказчика тревогу за нее, какое-то сочувствие, сопереживание? Да никакого! И подстреленный Фердинанд, этот «чудо-кабан», как и вся его история, для рассказчицы не более чем забавный случай, который может заинтересовать охотного до увлекательного чтива читателя. Кстати, и рассказан он вовсе не так уж увлекательно, потому что чего-то важного обо всей этой истории автор не до сказал, не понял, не донес до сознания читателя.

Психологизм рассказов Эзеры не имеет ничего общего с глубоким проникновением в образ, предполагающим слияние авторского «я» с сущностью своего героя, будь то зверь или человек. Это психологизм иного рода — психологизм восприятия, способность натренированного холодного ума считывать внешние знаки бытия, внешне проявления нашего существования, не проникая в их глубинный смысл. Герои рассказов Эзеры обладают способностью понимать, но божественным даром понять, чтобы простить, они не наделены. Наверное, поэтому они часто ироничны друг к другу, как например в цикле рассказов «Все о женщине и кое-что о мужчине», в котором интересные сами по себе четыре истории так и не получили какого-то необходимого логического завершения. По сути дела, они объединены механически, только лишь общим названием.

Складывается впечатление, что автора в этих и других рассказах сборника интересуют не сами люди, не их взаимоотношения, а лишь материчность их поведения. Автор проигрывает модели взаимосвязей между людьми и между человеком и природой. Отсюда рационализм, расчетливость, холодность и параллелизм как средство, как исходный

принцип художественного осмысления действительности. Две судьбы постоянно существуют врозь. Стоит им сблизиться, столкнуться, как тут же образуется неразрешимая конфликтная ситуация. Обычно это происходит за счет возвеличивания одного героя по отношению к другому. Пересечение судеб губительно для одного из них. Этот принцип работает в «Зоологических новеллах», но если здесь он определяется отношением рассказчика к природе, осознанием себя таким «венцом природы», то в других рассказах все обстоит сложнее. Рассказы «Двойник», «Воля к жизни», «Тефтели» и «Живот» из цикла «Все о женщине и кое-что о мужчине» объединяет не только необычность, занимательность изложенных в них историй, связанных с внушением или самовнушением, но и нечто другое. Если разобьются, в основе их лежит как-то подспудное недоверие к человеку, неверие в потенциальную силу добра, заложенного в человеке природой. Автор не любит своих героев, не болеет за них душой. Поэтому разлад между ними, разобщенность, неизбежность конфликта — естественное состояние, к которому приходят герои ее рассказов. Не уживаются диетсестра Дзиле со своим возлюбленным («Тефтели»), не способны найти общий язык Астрида и Энгельберт («Живот»), умирающую столетнюю старуху настоящему понимает только ее пес Лимон («Воля к жизни») — да, в жизни так бывает часто. В надуманности этих ситуаций автора не обвинишь. И все же эти рассказы оставляют впечатление искусственности, они не трогают нас, не потрясают, не откладываются в памяти

точно так же, как не находят отклика в душе читателя рассказы о Спрогисе. Почему? Очевидно, причины и корни конфликтов и тех отношений между людьми, которые показывает нам Эзера, лежат гораздо глубже, чем проникает скальпель автора. Да, не всевидящее око и всепонимающий разум, а действительно скальпель опытного, но холодного расчетливого хирурга. Рассекая ткани, он находит злокачественную опухоль, видит пораженный метастазами участок тела и... объясняет заболевание воспалением слепой кишки. А человек обречен. Нечто похожее мы находим в рассказах Эзеры.

Гораздо лучше удаются Эзере новеллы-превращения, сверхзадача которых заключается в том, чтобы показать исключительно отрицательные, жестокие, мерзкие качества человека. Таковы новеллы «Лось» (человек-убийца, человек-могильщик лишается разума), «Ловушка» (проводится параллель между крысой и проворовавшейся торговкой) и, пожалуй, самый удачный в сборнике рассказ «Дикие собаки», отличающийся жестокостью, бессмысленное варварство и дикость звериных законов, переносимых в область человеческих отношений.

В этом просматривается все та же закономерность, характерная для Эзеры-рассказчицы. Говоря впрямую о преобладании зла над добром, автор словно окунается в родную стихию. Мысль его парит свободно, повествование обретает глубину, объемность, и правдоподобие уступает место художественной правде. Чувствуется рука мастера. Жаль только, что все эти качества мы не находим в остальных рассказах сборника «Грибная лихорадка».

Вадим РУДНЕВ

ERRARE HUMANUM EST*

Человек, прочитавший вначале «Грибную лихорадку», а потом — статью Г. Гайлита, по моему мнению, должен себя чувствовать по крайней

* Человеку свойственно ошибаться (лат.).

мере сбитым с толку. Настолько статья Гайлита мало пересекается с содержанием рассказов латышской писательницы.

Так, критик упрекает Эзере в отсутствии психологизма. Но никакого

Рядиться в юбку странно
и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что
несогласно
С природой дамской...
Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.

Впрочем, и Белинский ведь не почувствовал прелести шуточных стихотворных новелл и «Болдинских побасенок» Пушкина, (как названы «Повести Белкина» в статье замечательного русского литературоведа Б. М. Эйхенбаума). Великий критик смотрел на Пушкина с точки зрения своей парадигмы литературного процесса, а Пушкин в рамки этой парадигмы уже не вмещался: «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего»...

Я совсем не хочу сравнивать Регину Эзеру с великим поэтом земли русской, но ведь и последний писал в период «глубокого застоя» (30-е годы XIX века), и писал замечательно.

Предмет иронической новеллы — не изображение жизни, а подтрунивание над жанром, который жизнью уже скомпрометирован, хотя по-прежнему с глубокой серьезностью пытается ее «отобразить». Недаром названия рассказов Эзеры — это зачастую комически переосмысленные цитаты, крылатые слова, пословицы или просто идиомы: «Типичный представитель своего пола», «Человеку свойственно ошибаться», «Так поступают все». Последнее название особенно интересно. Оно во многом подсвечивает неожиданным образом сюжет, который заключается в следующем. Девушка бежит по лесу, она убежала из финской бани, где к ней пытался приставать некий Арчибальд, «шикарный мальчик на «Волге» из Риги», между тем как она любит все того же шофера Спрогиса. А в то время, когда героиня переживала все эти ужасы, ее подружки Скайдрите и Зелтите спокойно ухаживают за своими кавалерами (соответственно — Каспаром и Кристапом) и не обращают внимания на свою не в меру экзальтированную подружку. Как можно так серьезно относиться к жизни? Надо вести себя проще, ведь так поступают все. В конце рассказа Марите (героиня)

смутно вспоминает, что этой ключевой для вечера фразой называется какая-то опера. Марите права. Речь идет о комической опере Моцарта «Così fan tutte» (более точный перевод «Так поступают все женщины» — так как слово «così» содержит грамматический признак принадлежности к женскому роду). Сюжет либретто заключается в том, что двое героев, решив убедиться в верности своих возлюбленных, переоделись иностранцами и, неузнанные, предстали перед ними. В результате одна из девушек влюбилась в переодетого возлюбленного своей подруги, и наоборот. След чужого сюжета определенным образом высветил сюжетную ситуацию рассказа подобно тому, как комическая история графа Нулина подсвечивалась мрачным сюжетом шекспировской трагедии о Лукреции и Тарквинии.

Хочется также сказать несколько слов в защиту главного героя эзеровского цикла — шофера Спрогиса, которого критика в лице Г. Гайлита представила в очень дурном свете, — ведь его образ начисто лишен психологизма. Спрогис объединяет все рассказы цикла, в которых строится как бы небольшая фолкнеровская Йокнапатофа со своей микрогеографией (автобусная стоянка, ресторан «Серебристый тополь», Даугава, дорога в Ригу) и со своими постоянными героями. Спрогис — типичный фольклорный трикстер, простоватый, но обаятельный плут, излюбленный герой всех мифологий, Иванушка-дурачок. Его стихия — это веселое брачное оборотничество, ибо плохо придется той Василисе Прекрасной, которая в Иванушке-дурачке не узнает Ивана-царевича и наоборот, как это все время и происходит с героями цикла «Грибная лихорадка», которые со своей мечтательностью провинциальных девочек поминутно попадают впросак. (Впрочем, такая литературность, неадекватность восприятия мира была свойственна, например, и пушкинской Татьяне:

Кто ты, мой ангел ли спаситель,
Или коварный искуситель,
Мои сомненья разреши.)

Спрогис — неунывающий и, главное, нестандартный человек, мечта-

тель. Его роль — либо постоянное попадание впросак при столкновении своих фантазий с жизнью, как в рассказе «Яник», когда он находит у себя в автобусе младенца и уже совсем всерьез хочет его усыновить, но вдруг появляется мать младенца, которая, как оказывается, по рассеянности забыла его в автобусе, — либо помощь людям в нестандартных ситуациях. Он все время останавливает автобус не там, где положено, чтобы кого-то высадить или посадить, или едет не по маршруту, чтобы, например, вернуть ушедшую из дома женщину в лоно семьи («Типичный представитель своего пола»). При этом оценка его поведения со стороны автора лишена и тени того навязного школьного дидактизма, отсутствия которого Г. Гайлит пытается вменить в вину Эзере. Вообще нужно сказать, что представление о том, что автор должен непременно болеть душой за своих героев, — это представление из дурного школьного учебника того самого застойного периода, о котором так храбро пишет Г. Гайлит.

Говорить, что в цикле рассказов о животных Эзера не сочувствует своим четвероногим персонажам и говорит о превосходстве человека над природой, — значит, и здесь не чувствовать жанра. Опять-таки рассказы совсем не о том. Их тема — это некое таинственное, мистическое ощущение связи между поведением людей и животных. Именно об этом говорится в истории о загадочном кабане Фердинанде или в рассказе «Порог риска», повествующем о том, как кошка, забираясь высоко на дерево, каждый раз не может оттуда прыгнуть и в конце концов как бы растворяется в некоем потустороннем пространстве.

И совершенно неверно, что художественная ткань рассказов цикла «Грибная лихорадка» кладет тень своей поэтики на цикл рассказов о животных. Жанр последних совсем иной. Его условно можно назвать готическим, ибо от этих рассказов веет чем-то мрачным, средневековым, во всяком случае их жанровая природа

не имеет ничего общего с поэтикой бытовых новелл «Грибной лихорадки».

Вообще установка видеть в литературе отражение реальности безнадежно устарела. Литература прежде всего отражает язык, на котором она написана, язык, строящий из своих компонентов литературный жанр, за которым можно либо точно следовать, либо, наоборот, ломать его рамки. Писатель не может быть как писатель ни добр, ни зол. Он может быть только интересен или скучен, глубок или поверхностен. Хороший писатель — это не тот, который правильно отражает реальность, а тот, который нетривиально работает в выбранном им жанре. Обвинять же персонажей в том, что они ведут себя не так, как хотелось бы критику, это значит ловить сачком тень бабочки. Как пишет сама Эзера, «из вышесказанного прямо следует, что Спрогис, конечно, отрицательный герой, однако из тех, кто все же по-дает надежду на исправление, как оно и должно быть в литературе (разрядка моя. — В. Р.), ведь не зря же умные, высокообразованные люди в периодической печати пишут (это, должно быть, мы с Гарри Гайлитом? — В. Р.), что суперчерные образы свой век отжили, и отпетые негодяи, физически прогнившие до мозга костей и морально растленные до глубины души, уже несовременны и больше нетипичны.

Спрогис, к сожалению, этого не читал».

От себя добавлю: и правильно делал!

По-моему мнению, Регина Эзера — хороший писатель, потому что в выбранных жанрах она работает интересно. И еще важно отметить, что ей очень повезло с переводчиком. В. Дорошенко переводит Эзере легко, гибко, без той ходульной казенщины, которая невозможна в русском языке и которая, к сожалению, так часто в переводах с латышского.

Таково, повторяю, мое мнение, хотя, разумеется... человеку свойственно ошибаться.

КТО МЫ, КУДА ИДЕМ?..

ОТ ВАРЛАМА К АВЕЛЮ — И ДАЛЕЕ...

Фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», широко прошедший по экранам страны, посмотрели и жители нашей республики. Разные отклики вызвал он у зрителей — от безоговорочного приятия до столь же безоговорочного отрицания. Но не о самом фильме так таковом сейчас пойдет речь — о нем написано немало. На сей раз — о необычном социологическом исследовании, которое недавно провели ленинградские ученые, опросив зрителей фильма.

Сегодня в гостях у «Даугавы» — один из инициаторов этого интереснейшего опроса доктор философских наук Леонид Григорьевич ИОНИН. По просьбе редакции «Даугавы» с ним беседует журналист Екатерина Борисовна ШИШКОВА.

— Леонид Григорьевич, вы участвовали в исследованиях, проведенных в киноцентре «Ленинград», напрямую общаясь со зрителями. В чем, по-вашему, причина столь широкого отклика на «Покаяние»?

— Причин много. Одна из них, может быть самая главная, заключается в том, что картина обращена к тому периоду нашей истории, который долгое время замалчивался. Образ Варлама Аравидзе, главного действующего лица фильма, кинематографистами был задуман как собирательный. Однако большинство сидящих в зале увидели за ним реальных людей, сыгравших немало важную роль в нашем недавнем прошлом. Фильм стал поводом, чтобы еще раз продумать свое отношение к историческим личностям. И наше исследование как раз помогло все это прояснить.

Выяснилось, в частности, что у людей старшего поколения гораздо резче оценки и столкновение противоположных мнений на этот счет, в то время как молодежь проявила себя более единодушной благода-

ря... своему невежеству. 43 процента молодых людей утверждали, что за образом Варлама стоят вполне определенные исторические лица, но только 31 процент из них смогли кого-то назвать, не говоря уже о том, что и этот выбор был часто, что называется, наобум.

Для молодежи «Покаяние» вообще в определенном смысле стало подлинным откровением. Анкетирование выявило некую двойственность. С одной стороны, молодые люди занимают совершенно справедливые морально-этические и морально-политические позиции.

С другой — совсем не знают конкретных исторических фактов, по отношению к которым эти позиции проверяются. Нетрудно догадаться, как легко такие люди могут быть сбиты с толку демагогами.

Одним из направлений нашего исследования было определение количественного уровня людей, демократично либо консервативно настроенных. В группе молодых наиболее демократичными оказались студенты, наиболее консервативными —

рабочие. Между ними заняли место инженерно-технические работники. Но ни те, ни другие, ни третьи четкого понимания социальной природы происходивших в фильме событий не имели.

«Демократам» мешала элементарная нехватка информации о реальных исторических фактах, а «консерваторам» — даже не собственно консерватизм (таких были лишь единицы) — а то, что можно было бы назвать «безразличием души». Не имели своего мнения откровенно равнодушные, они даже и не пытались прибегать к аргументации. Как, например, непонимание стиливых или жанровых характеристик фильма.

— Как вы думаете, есть ли для них надежда на «прозрение»?

— Надежда существует всегда. Именно поэтому и есть смысл в нашем сегодняшнем разговоре с вами. Важно уяснить себе «Покаяние», а также его социальную подоплеку в различных аспектах. Такое осмысление поможет во многом разобраться.

В годы, которые мы теперь называем застойными, у некоторых чуть ли не хорошим тоном считалось пренебрежение к чтению газет. Впрочем, в то время в самом деле нельзя было похвалиться избытком достояния внимания материалов. В газетах писали одно, тогда как в жизни происходило другое. А теперь даже физически трудно ознакомиться со всем заслуживающим внимания, что предлагает периодика.

И у молодого поколения, взамен прежней индифферентности к социально-политическим вопросам, все чаще проявляется интерес, активное, гражданское отношение к ним. Немалую роль в этом (вместе с газетами и журналами) играют книги и фильмы, которые увидели свет в последнее время. «Покаяние» Тенгиза Абуладзе — в их ряду.

— Леонид Григорьевич, а как отнеслась аудитория к самой тематике картины!

— 77 процентов молодых и 67 процентов группы старшего возраста высказались за показ «Покаяния» в молодежной аудитории. Правда, с оговоркой: первые считают, что смысл фильма поймут 52 процента, а вторые и вовсе мало доверяют зрителю — 25 процентов.

Карине Т. Абуладзе наша пресса посвятила немало статей, написанных известными критиками, писателями, журналистами. Некоторым из них тоже казалось, что фильм будет понятен не всеми. Социологические исследования показали обратное. Лента получилась не элитной, но массовой. И для нас, изучавших не столько аудиторию фильма, сколько ее политическое сознание, это было особенно важно.

— Когда знаменитый роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» был впервые переведен на французский язык, реакция французов, по словам Ильи Эренбурга, была приблизительно следующей: русский, заключили они, ни в бога, ни в черта по-настоящему не верящий, в любой момент способен убить, а потом целовать землю и КАЯТЬСЯ [выделено мною. — Е. Ш.] в публичном месте.

Если спроецировать этот подход на фильм грузинских кинематографистов, то, наверное, его зрители меньше всего походили на таких иностранцев — отчужденно и искаженно рассуждающих о чьей-то национальной культуре. Разные поколения, пришедшие в зал, вероятно объединяло одно: то, что происходило на экране, воспринималось как свое собственное.

— Конечно, у каждого это было по-своему. Кто-то мало знал о событиях, что легли в основу сюжета, и пришел восполнить недостаток информации, кто-то, наоборот, — сопоставить собственный жизненный опыт с киноинтерпретацией. Так или иначе, но все поняли природу происходящего — стремление тирана подавить человеческие индивидуальности, навязать свое видение мира и представления о нем.

И хотя события разворачиваются вроде бы в Грузии, никто не счел, что этот фильм — только о грузинских проблемах. Национальная специфика не исказила восприятия основной идеи, наоборот, как это бывает в истинном искусстве, подняла ее до уровня универсальной. Именно масштабность сюжета и делает его предметом, достойным не только искусствоведческого, но и философско-социологического анализа.

— Расскажите о вашей интерпретации «Покаяния».

— Частично я уже пытался изложить ее в статье, опубликованной в третьем номере журнала «Социологические исследования» за 1987 год. Если коротко, то суть ее примерно в следующем. Я рассматриваю жизнь и дела Варлама как продукт утопического сознания и столь же утопических представлений о тотальном равенстве. Абсолютного равенства, как известно, не бывает — люди рождаются разными, по-разному обучены, по-разному живут, способны на разные трудовые, творческие достижения. Попытка свести все к одному знаменателю, то есть нивелирование человеческих индивидов, это и есть утопическая попытка создать общество тотального равенства.

— Но такие попытки существовали раньше...

— Совершенно верно. Существует многовековая утопическая традиция. И сюжет «Покаяния» — еще одно новое ее звено. Широко известны утопии совершенного государства Платона, Мора, Кампанеллы. Известно, что некоторые из таких утопий стали предшественниками научного коммунизма, их пафос равенства, борьбы против угнетения одного человека другим нам близок, но конкретные пути, предлагаемые ими для достижения этих целей, принять мы не можем. Каждый раз для наведения порядка в любом из вариантов этих утопий неизбежно выработывалась новая элита. И благие намерения, как нетрудно догадаться, оборачивались новым видом тирании. «Покаяние» демонстрирует еще одну такую попытку, выродившуюся в антигуманизм, жестокость и подавление личности. Тотальное равенство неизбежно приводит ни много ни мало ко всеобщему уничтожению.

Для всех предшествующих утопий были характерны машинообразная регламентация и порядок. Например, у Кампанеллы в его «Городе Солнца» строго оговаривалось время посева сельскохозяйственных культур, количество работающих и даже их одежда. Все должны были ходить в белом, за исключением начальства. Кстати, в недавно вышедшей комедии «Кин-дза-дза», где дело происходит на некой далекой планете, некоторые из утопических

идей получили воплощение. Один из героев, в частности, говорит, что общество, в котором отсутствует дифференциация по цвету, не имеет будущего. Белые одежды в государстве Кампанеллы жители должны были стирать все вместе. Не по мере надобности, а, как было предписано, не реже одного раза в месяц.

Любовь могла иметь место только по приказу начальства. И тем, кому предназначалось полюбить, указывалось, когда именно они должны спариваться. Были разработаны соответствующие процедуры: один из молодых супругов находился в одной комнате, другой — в соседней, ответственный за рождение открывал обе двери, вводил людей в предназначенную опочивальню, укладывал на ложе и т. д.

— Насколько похожи рассуждения Варлама на такую четкую регламентацию всех и вся. Его слова: «Одни пускают мыльные пузыри, другие лопают врагов народа, третьи пишут картины. Разве это нормально! Разве это нормально!!! Рабочие работают, торговцы торгуют, шлюхи гуляют... Так есть! Так не будет! Мы построим рай в нашем городе!»

— Действительно, даже эти слова Варлама позволяют связать его представления о том, каким должно быть общество, с давней утопической традицией. Ненависть к тому, что возникает стихийно, стремление все регламентировать «своей» наукой — такое уже было в истории, и не раз. Еще Платон у себя в утопии особо подчеркивал, что правитель, начиная как бы с чистого холста, не должен останавливаться ни перед чем: различать детей и родителей, дабы целиком по-своему воспитать новое поколение; вывозить, выселять целые группы населения, которые мешают созданию задуманного общества; во имя высокой цели убивать и лгать.

В начале двадцатого века появились так называемые антиутопии. Это были произведения, которые уже на новом историческом этапе пытались дать свое представление о будущем обществе, но уже с другим знаком — анти. Властвующие в них правители посредством тех же самых приемов, что и в традиционных утопиях, добивались противоположного результата — не всеобщего

счастья, а всеобщего обесчеловечивания.

Примером вполне может служить знаменитый роман Евгения Замятина «Мы». Суть его заключалась в том, что в мозгу каждого человека, сразу после рождения, вырезали центр фантазии и творчества, и тогда общество оказывалось действительно прекрасным образом организовано. Существовали и другие антиутопии: Набокова «Приглашение на казнь», Хаксли «Прекрасный новый мир», Оруэлл «1984-й» и другие. Нередко эти произведения пытались рассматривать как литературу антисоциалистическую, торопились приписать ее к пародиям на наш строй. На самом деле книги подобного рода скорее антиварламовские, если, конечно, не считать социалистическим то общество, которое мыслит создать этот человек. К антиутопической литературе необходим объективный подход.

Есть, увы, и ужасающие примеры того, как утопии пытались воплотить в жизнь. История человечества не имеет права забывать гекатомбы трупов в Кампучии, проломанные детские черепа...

Когда наше общество вышло в октябре 1917 года в открытый океан истории, кто-то просто-напросто испугался. Некоторые антиутопии явились результатом такого испуга. Но они отражали и реальные опасности на пути социализма. И если какие-то моменты в этих произведениях имеют под собой реальную историческую подоплеку, то почему с такой критикой не считаться? Какой новый путь был пройден гладко и без ошибок? От этого не застрахован никто.

Одна из новейших антиутопий — фильм «Новые амазонки». Замаскированный мужчина — это своеобразный Варлам. Он предписывает находящимся в его подчинении женщинам, что и как нужно делать, а сам живет совсем по-другому. Главное здесь, как и в варламовском мире, та же изоляция людей от окружающего, представление всего, что не удалось регламентировать, инородным, зловещим, чуждым по своей природе. Чтобы люди не знали, каков мир в действительности, — тогда им можно навязать свою схему.

— Варлам манипулирует формулами, которые кажутся на первый взгляд очень убедительными: он радуется за развитие науки, счастье и всеобщее равенство. Казалось бы, эти формулы впитаны нами с детства. Но в фильме под всем этим раскрываются отнюдь не благовидные дела. В чем отличие идей Варлама от тех, которые ставит перед собой социалистическое общество? Где та лакмусовая бумажка, которая позволила бы нам отличить пустые лозунги от истинных целей?

— Действительно, одно и другое часто совпадают на уровне вербальном, словесном. Должна ли существовать наука, должно ли общество быть организованным — на все эти вопросы можно ответить только положительно. Но объективный, углубленный анализ покажет, что за этими словами порой таится самое разное содержание.

Когда человек, стоящий «наверху» и обладающий очередной схемой, считает, что те, кто «внизу», должны приспосабливаться под нее; когда она навязывается, а с индивидуальными вкусами, интересами, потребностями никто не считается — тогда ясно, что происходит злоупотребление понятиями, о которых мы говорим.

Две тысячи лет назад Аристотель указывал на два вида справедливости: уравнилительный и распределительный. Уравнилительный — это когда все на всех делится поровну, а распределительный — когда общественное достояние распределяется в зависимости от того, как и сколько человек вкладывает в жизнь общества. Ясно, что не «уравниловка», а второй вид равенства более справедлив.

Ну а счастье — что оно? Призыв к нему, конечно, дорог, привлекателен для каждого. Но ведь мы уже убедились, что попытка осястеливить всех сразу неизбежно ведет к варламу. Можно ли быть счастливым, живя по схеме? Императрица Екатерина в переписке с просветителями хвасталась, что русский крестьянин имеет по курице в день, а потому, дескать, счастлив. Но ведь известно, что материальные блага не сделают человека счастливым, всегда будет хотеться чего-то большего или чего-то иного. Кроме того, су-

ществуют такие понятия, как любовь, здоровье, которые не может гарантировать никакая, даже самая совершенная организация общества. А то, что рядом с нами каждый день умирают люди, — разве это не есть самая большая трагедия, причем вечная и неизбежная?

Поэтому счастье для социальных программ вообще не лозунг. Это ошибка просветительского времени, когда желали облагодетельствовать всех сразу и вдруг. Меж тем как каждый воспринимал и воспринимает благо по-своему.

Что же касается «лакмусовой бумажки», то идеального индикатора, конечно, нет. Можно, однако, назвать предпосылки, которые дают возможность отличить внешне привлекательные, но лживые лозунги от обоснованных программ. Первое — это широкое, открытое обсуждение и критика целей, которые ставит перед собою общество. Второе — знание собственной реальной истории. Ведь именно на ее фальсификации строятся порой различные идеологические концепции о счастье, равенстве, развитии наук. Если большинство будет знать, как на самом деле воплощалась справедливость в истории, тогда будут серьезнее задумываться над каждым выдвигаемым лозунгом и даже предугадывать, что ждет нас впереди.

— **Кадр за кадром наблюдая деятельность Аравидзе, невольно задумываешься над несправедливым обвинением человека в зверской жестокости — «зверь никогда не может быть жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».**

Если цивилизация, несмотря на всю свою внешнюю импозантность, внутренне бездуховна, она отнюдь не застрахована от повторения ужасов средневековья. Не потому ли «обычные» преступления на протяжении всей истории количественно умножаются уже чисто математически! Достаточно вспомнить целую машину «врагов» в «Покаянии», единственная вина которых заключалась в том, что они носили одну и ту же фамилию.

— Вы, наверно, имеете в виду технологический, или, как принято сейчас выражаться, технократический принцип. В картине Т. Абуладзе мы становимся свидетелями попытки

создания рационализованного общественного механизма такого типа. Но должна ли противостоять этому только духовность? Духовность — понятие достаточно многогранное. Сейчас, например, многие говорят о духовности программы общества «Память», но каждый из говорящих понимает это слишком по-своему. Парадоксально на первый взгляд, но ведь и Варлам не лишен своеобразной духовности. Он верит, а это — одно из проявлений духовности. Но что стоит за личностью этого человека в целом? Крепкие как скала убеждения, на которых строится ratio, расчет. То есть сначала вера, а уж потом «технология». Из такой почвы произрастают выводы, и в соответствии с ними осуществляются строгие, вполне логичные действия. Поэтому мы и говорим о его неумолимой твердокаменной логике.

— **Такая логика неизбежно ведет к катастрофе...**

— Однако этот путь со свойственным ей законом — ломать слишком уж твердокаменные схемы — преграждает сама жизнь. И именно она постоянно разрушает схему, в которую Варлам фанатически верит. Иначе, реальность, с которой, таким образом, постоянно конфликтует Варлам, ее развитие, законы, по которым она развивается, — наши естественные союзники в борьбе с варлализмом.

Так что вряд ли стоит полагаться на одну только духовность и уж подавно — на слепую веру. Вспомните Элен, декламирующую «Оду к радости» Шиллера. Да и не только ее. Слепо верящий не сможет противопоставлять довлеющей над ним схеме свое рациональное исследование того, что происходит вокруг.

— **Конечно, рациональное исследование окружающего необходимо. Но ведь и духовность не ограничивается верой и не сводится к ней. Духовность предполагает прежде всего высокий моральный уровень. И разве это не может быть существенной преградой на пути варлализма!**

— Соотношение морали и общественного устройства — проблема необъятная. Кратко скажу так: мораль не отменяет требования разумного устройства общества, я имею в виду — его демократического уст-

ройства. Одно не надо путать с другим. Моральное — это внутренняя организация человека и его отношение к миру, а общественное — внешние ограничения, налагаемые на того же человека. Если целиком заменить моральное регулирование рациональной внешней организацией, получим вместо людей роботов. Если же, наоборот, отказаться от внешних регулирующих принципов, придем к психологическому террору и подавлению свободы совести. В любом случае результатом неверной постановки целей социального развития будут страдания человека.

Даже в нашем обществе слишком много еще существует такого, что мы спешим принять на веру без анализа. Так, привыкнув к идее преимуществ социализма, мы слишком мало уделяем внимания тому, в чем и как эти преимущества должны проявляться. Поскольку живем в стране, где они гарантированы, а следовательно, наши устремления неизбежно ждет успех. Варлам Аравидзе думал примерно так же — если машина пущена в ход, то и счастье для всех будет.

Необходим анализ и корректировка не столько действий, сколько еще их предпосылок. Особое внимание должно уделяться творчеству каждого — тому самому человеческому фактору, о котором сегодня так много говорят. Практически это и есть реализация демократии. А она, как известно, предполагает самые разные мнения, действия и формы действий. На это нацелена теперь перестройка.

— **Политический лидер Аравидзе руководствовался тезисом: масса всегда права. И выходит, вина не на нем одном, но и на ней тоже. Казнь массы происходит по ее же собственному приговору. Но видя перед собой конкретных Михаила Коришели, Сандро и его жену Нину, невольно задаешься вопросом: кто же из них тогда сам желал себе смерти!**

— Никто из них не хотел умирать. Это так. Но ведь вы назвали различные типы людей, оказавшихся в руках Варлама. Одно дело — художник и его жена, которые жили в себе и в своем творчестве, сознательно отгораживаясь от многого. А Коришели — дело другое. Он играл в игру с Аравидзе, он принимал

те же предпосылки, он в них по-своему верил, уже на грани помешательства. И Элен тоже играла в эту игру. А в результате, так как все равно они оставались объективно человеческими индивидами и не смогли бы слиться с массами, став равными друг другу, они были уничтожены. Произошел некий сдвиг, я бы сказал, метафизики в реальность. Эти люди вольно или невольно встали на путь реализации совершенно невозможного в действительности правила всеобщего равенства.

Известно, что чем ниже уровень индивидуального развития членов группы, тем сплоченнее группа. И наоборот, чем большей индивидуальностью обладают ее члены, тем группа менее сплочена. Но последняя, однако, более способна анализировать групповые цели, искать и находить альтернативные варианты решений. А первая, крайне тесная, где индивиды минимально отличаются друг от друга, очень легко поддается легко звучащим политическим лозунгам. Такая группа не замедлит совершить как самое ужасное, так и самое прекрасное. Обычно такие примитивные группы движимы элементарными моральными чувствами, и потому даже во имя хороших целей не замедлят порой пойти на человекоубийство. Ведь легче не разбираться, не искать ответ на вопрос, откуда возникла несправедливость и как ее лучше ликвидировать, — а скорее действовать.

Первые годы Советской власти дают нам выгодно отличающийся от подобного подхода пример. Вы видели пьесу Шатрова о Брестском мире? Центральный Комитет партии состоял тогда из группы высокоиндивидуализированных, талантливых, творческих людей. Среди них постоянно велись дискуссии, противопоставлялись различные точки зрения, и в результате находились оптимальные решения. Такой «дискуссионный» метод помог выжить Советской власти в очень сложное для нее время. Но и тогда находились группы, движимые элементарными моральными чувствами. По их вине происходила масса эксцессов.

Не одну сотню лет люди спорят о том, что такое справедливость. Она может выражаться крайне просто: убить того, у кого больше, и

разделить на всех. Но оказывалось, и не один раз, разделили — в результате нет ни у кого.

Трагизм диалектических взаимоотношений масс и власти, на мой взгляд, в том, что люди, движимые одной и той же идеей, которую они слепо принимают на веру, начинают забывать свои собственные различия. И те, кто имеет какие-то другие, не совпадающие с мнением большинства взгляды, начинают рассматриваться сперва с подозрением, а потом подавляться и унижаться.

— **Главный герой фильма — труп. Мы привыкли к умершим относиться почтительно, все им прощая. Формально, может быть, отдавая дань хорошо ли, худо ли, но уже пройденному кем-то пути. Вырывая городского голову из земли, Кетеван хочет добиться невозможного — превратить его в изюга, не относящегося ни к мертвым, ни к живым. Манипуляции с трупом на протяжении всей картины, наверное, любому человеку, не страдающему садистскими наклонностями, кажутся малоприятными. Однако создателям «Покаяния» это все же понадобилось. Как вы думаете, для чего? Какова социальная подоплека действий Кетеван?**

— Еще со времен Древнего Рима известно изречение: о мертвых хорошо или ничего. На самом деле мы относимся к ним с куда меньшим почтением, в особенности если речь идет о фигурах общественно значимых. То есть о людях, чья жизнь символизирует определенные общественные устремления. Свойственный вроде бы каждому пиетет в этих случаях часто остается в стороне. Если подойти к этому социологически, то можно говорить о том, что в царстве мертвых существуют те же изменения статусов, что и в царстве живых. Любая социальная революция происходит в них одновременно. К примеру, те, кто до Октября составлял верхушку, элиту царства умерших, после него стал ничем. Лозунг «Интернационала», «кто был ничем, тот станет всем» в полной мере может быть отнесен и к мертвым.

И покуда, применительно к фильму, Аравидзе остается уважаем, в мире живых царствуют те же принципы, которые были заложены этим

человеком. Он и те, кто остался жить, теснейшим образом связаны друг с другом. Обращение к прошлому объясняет нам, почему мы сегодня живем именно так.

— **Пересматривая прошлое, можно увидеть в нем и взяты то, что хочется, что выгодно, а не то, что было на самом деле. Можно подхлестывать сегодняшние процессы, создавая из пройденных лет своеобразный допинг.**

— Надо вообще в корне изменить оценки прожитых нами лет. Нередко еще бытует мнение, что, говоря об отрицательных, «темных» сторонах прошлого, мы якобы вредим нашему настоящему. На самом деле все наоборот. Мы поем, например, такую песню: «Никто пути пройденного у нас не отберет...» В то время как у нас отбирают этот путь те, кто замалчивает неприглядное. Но ведь и оно неотъемлемая часть нашего настоящего. То, что было, — такой же жизненно важный элемент, как то, что есть, и то, что будет.

Связь времен жива только в целостности.

— **В одном из своих интервью Т. Абуладзе назвал самым страшным персонажем не Варлама, а его сына Авеля, который никого не убивал. Как вы думаете, почему?**

— Авель — человек раздвоенный. Зная всю пагубность варламовских идей и деяний, он оставляет все по-прежнему во имя собственного сегодняшнего благополучия. Значит, сохраняется опасность возникновения новой ситуации, подобной той, что была при Варламе. Все, кто живет, оказываются под дамочковым мечом — под угрозой восстановления старых порядков. Внешне кажется, что такой опасности нет, в то время как она есть ежеминутно, всегда, пока авели радуют за свое. Хорошую поговорку можно привести на этот счет: кот Евстафий похмился, постригся, а всё мыши снятся.

Дело в том, что мы до сих пор не постигли всех уроков варламизма. Способы деятельности и решения социальных проблем сплошь и рядом, к сожалению, те же. За примерами далеко ходить не надо. Не так давно в газетах много писали о сносе гостиницы «Англетер» в Ленинграде. И общая реакция властей сводилась примерно к следующему:

кто это там мутит воду! куда смотрит милиция! — и так далее. Перед нами не что иное, как насильственное внедрение одной точки зрения на проблему. Чего и добиваются любыми средствами.

— **Без учета желания людей. Без учета истории, за которую они борются.**

— Без учета даже целесообразности такого сноса. Но преподносится это тем не менее как данность, не терпящая какого бы то ни было противодействия. Наши газеты буквально пестрят сегодня выявлением и разоблачением подобных фактов. Все они — подтверждение того, что так остро наконец поднято в «Покаянии». Проблематика фильма тысячекратно прослеживается в нашей действительности.

— **И последний вопрос: в чем, по вашему, смысл названия фильма?**

— «Покаяние» — слово из лексики теологического, религиозного. Но сейчас, после картины Т. Абуладзе, оно обрело новый смысл. Покаяние стало явлением общественной морали, явлением социальным. Вернее, становится таковым именно на наших глазах. Из индивидуальной, религиозной оно перешло теперь в сферу морали всего общества. Так же как и слово «перестройка», все чаще встречается теперь покаяние в материалах газет. Уже по разным поводам, безотносительно к фильму.

Поэтому, если раньше я бы сказал, что покаяние — это осознание греха и раскаяние в грехе, то теперь — что это жизненно важный поиск обществом своего подлинного места в историческом процессе.



Поэты Яннс Рокпелнс и Мара Мисня.

Фото Лаймоннса Блодниака

МАНДЕЛЬШТАМ И ЛАТВИЯ

Исповедальная книга Осипа Мандельштама «Шум времени» (написанная в 1923 г., изданная в 1925 г.) в числе прочих мест и событий приводит нас в Латвию начала века.

В Риге на Ключевой улице (Шпреништрассе, ныне — ул. Авоту) в доме № 6 жили в первое десятилетие двадцатого века дед и бабушка поэта (этот деревянный двенадцатиквартирный дом не сохранился). По справке, приведенной сотрудниками Государственного исторического архива ЛССР В. А. Грунте и В. Е. Фреймане, в 1897 году дед — Бенциамин Зунделович (занимавшийся сортировкой кож) и бабушка — Мерз Абрамовна указали для всероссийской переписи населения свой возраст соответственно как 66 и 65 лет. В рижской адресной книге Бенъямин Мандельштам в последний раз указан в 1909 г. После смерти деда бабушка, по-видимому, жила в Петербурге, и облик ее возникает в воспоминаниях Георгия Иванова — хотя, зная привычку этого писателя подменять воспоминания беллетризованными штампами, за точность его нельзя поручиться: «Девяностолетняя высохшая бабушка, с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: высчитывает сроки пришествия Мессии... <...>

Тяжелая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шепот бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные древнееврейские слова¹.

В одной из глав «Шума времени» Мандельштам писал: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских. И это пахнет не только кукня, но люди, вещи и одежда. До сих пор помню, как меня обдало этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на Ключевой улице, в немецкой Риге, у дедушки и бабушки». Запахи, звуки и скудный словарь приглушенного и опасливого еврейского быта преследовали Мандельштама всю жизнь, он вспоминал их и в настоящей на автобиографических мотивах повести «Египетская марка» (1927):

«В еврейских квартирах стоит печальная усатая тишина.

Она слагается из разговоров мятника с крошками булки на клеенчатой скатерти и серебряными подстаканниками».

«Больше всего у нас в доме боялись «сажи» — то есть копоти от керосиновых ламп. Крик «сажа-сажа» звучал как «пожар», «горим» — вбегали в комнату, где расшались лампы. Всплескивая руками, останавливались, нюхали воздух, весь кишевиный усатыми, живыми порхающими чайниками. „Подкова“ — так называлась булочка с маком.

¹ Г. Иванов. Петербургские зимы. — Париж, 1928, с. 109.

ница поэта, показала им лист с генеалогическим деревом: «Дерево началось незадолго до переезда какого-то патриарха из Германии в Курляндию, куда его выписал как часовщика и ювелира герцог Курляндский Бирон. Он таким способом насаждал ремесла в своем только что полученном герцогстве». Смутное воспоминание о митавском прошлом своего рода брезжило у автора «Египетской марки» (в которой промелькнуло и имя Бирона), а в богатой и трудной памяти латышской земли не должен быть забыт и сам Осип Мандельштам.

Роман ТИМЕНЧИК

ГЛАВЫ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ КНИГИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА «ШУМ ВРЕМЕНИ»

ХАОС ИУДЕЙСКИЙ

Однажды к нам приехала совершенно чужая особа, девушка лет сорока в красной шляпке, с острым подбородком и злыми черными глазами. Ссылаясь на происхождение из местечка Шавли³, она требовала, чтобы ее выдали в Петербурге замуж. Пока ее удалось спровадить, она прожила в доме неделю. Изредка появлялись странствующие авторы: бородастые и длиннополые люди, талмудические философы, продавцы вразнос собственных печатных изречений и афоризмов. Они представляли именные экземпляры и жаловались на преследование злых жен. Раз или два в жизни меня возили в синагогу, как в концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у барышников; и от того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду. В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка. Там, на Торговых, попадают еврейские вывески с быком и короной, женщины с выбивающимися из-под косынки накладными волосами и семенящие в шуртах до земли многоопытные и чадолюбивые старики. Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздья семисвечников, высокие бархатные камиллавки. Еврейский корабль с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами плывет на всех парусах,

расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камиллавки, и дивное равновесие гласных и согласных в четко произносимых словах сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление — скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все, что он говорит! И вдруг два господина в цилиндрах, прекрасно одетые, лоснящиеся богатством, с изящными движениями светских людей прикасаются к тяжелой книге, выходят из круга и за всех, по доверенности, по поручению всех, совершают что-то почетное и самое главное. Кто это? Барон Гинзбург. А это — Варшавский⁴.

В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной вопросительной речи с резкими ударами на полтонах. Речь отца и речь матери — не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны — но это

⁴ Гораций Осипович (Нафтали Герц) Гинзбург (1833—1909) — петербургский финансист, филантроп, был дружен с Вл. Соловьевым. Варшавские — петербургская семья, известная своей филантропической деятельностью.

³ Ныне Шяуляй (Литовская ССР).

язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку пришедшей интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков⁵? У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие⁶. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно по-русски или по-немецки.

По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводит в банках своих пауков. Предчувствуется Руссо и его естественный человек. Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично. Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собрались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши; вместо талмуда читает Шиллера и, заметьте, читает его как новую книгу; немного продержавшись, он падает из этого странного университета обратно в кипучий мир семидесятых годов, чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на Караванной, откуда подводили мину под Александра, и в перчаточной

мастерской и на кожевенном заводе проповедует обрюзгшим и удивленным клиентам философские идеалы восемнадцатого века.

Когда меня везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке, я сопротивлялся и чуть не плакал. Мне казалось, что меня везут на родину непонятной отцовской философии. Двинулась в путь артиллерия картонок, корзинок с висячими замками, пухлый неудобный домашний багаж. Зимние вещи пересыпали крупной солью нафталина. Кресла стояли как белые кони в попоне чехлов. Невеселыми казались мне сборы на рижское взморье. Я тогда собирал гвозди: нелепейшая коллекционерская причуда. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колочее богатство. Тут у меня отняли гвозди на укладку.

Дорога была тревожная. Тусклый вагон в Дерпте⁷ ночью, с громкими эстонскими песнями, приступом брали какие-то ферейны, возвращаясь с большого певческого праздника. Эстонцы топотали и ломились в дверь. Было очень страшно.

Дедушка — голубоглазый старик в ермолок, закрывавшей наполовину лоб, с чертами важными и немногу сановными, как бывает у очень почтенных евреев, улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел, — густые брови сдвигались. Он хотел взять меня на руки, я чуть не заплакал. Добрая бабушка в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками мелко-мелко семеняла по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить.

Она спрашивала: «Покушали? покушали?» — единственное русское слово, которое она знала. Но не понравились мне пряные стариковские лакомства, их горький миндальный вкус. Родители ушли в город. Опечаленный дед и грустная светлая бабушка — попробуют заговорить и наохлятся, как старые обиженные птицы. Я попытался им объяснить, что хочу к маме, — они же понимали. Тогда я пальцами на столе изобразил наглядно желание уйти, перебирая на манер походки средним и указательным.

Вдруг дедушка вытащил из ящика комоды черно-желтый шелковый

⁵ Мать поэта — Флора Осиповна Вербловская (1866—1916). На ее смерть Мандельштам написал стихотворение «Эта ночь непоправима...», не вошедшее в издание «Библиотеки поэта».

⁶ Отец поэта — Эмиль (Хацкель) Вениаминович (1856—1938).

⁷ Ныне Тарту (Эстонская ССР).

платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подоспела мать.

Отец часто говорил о честности деда как о высоком духовном качестве. Для еврея честность — это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколениям этих суровых голубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин однажды сказал: «Я прекращаю дело и торговлю — мне больше не нужно денег», ему хватило точь-в-точь по самый день смерти — он не оставил ни одной копейки.

Рижское взморье — это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песком (разве в песочных часах такой песочек!) и дырявыми мостками в одну и две доски, перекинутыми через двадцативерстную дачную Сахару.

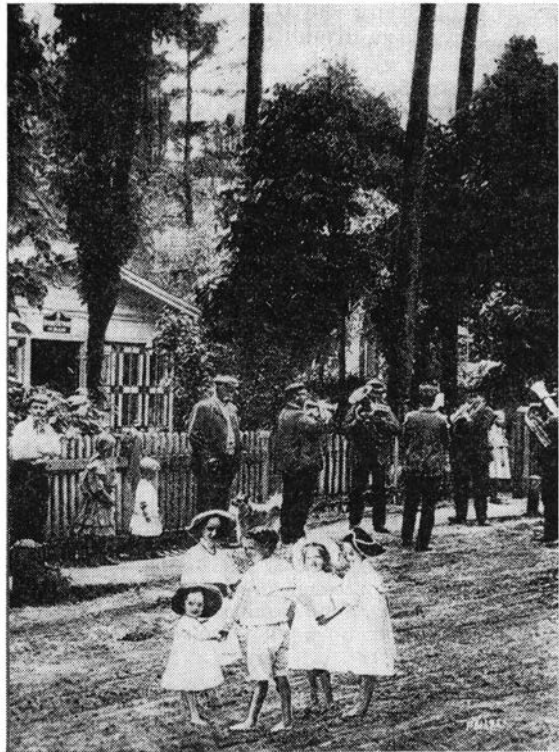
Дачный размах рижского взморья не сравнится ни с какими курортами. Мостки, клумбы, палисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым городищем, все на желтом, каким играют ребята, измолотом в пшеницу канареечном песке.

Латыши на задворках сушат и вялят камбалу, одноглазую, костистую, плоскую, как широкая ладонь, рыбу. Детский плач, фортепианные гаммы, стоны пациентов бесчисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных таблоидов, рулады певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволок, и по рельсовой подкове на песчаной насыпи сколько хватает глаз бегают игрушечные поезда, набитые «зайца-

ми», прыгающими на ходу, от немецкого чопорного Бильдерингсгофа до скученного и пахнущего пеленками еврейского Дуббелна. По редким сосновым перелескам блуждают бродячие оркестры: две трубы калачом, кларнет и тромбон и, выдувая немилосердную медную фальшь, отовсюду гонимые, то здесь, то там раздражаются лошадиным маршем прекрасной Каролины⁸.

Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В Майоренгофе, у немцев, играла музыка — сим-

⁸ По-видимому, «Каролингенгалэп» и. Штрауса-старшего.



Уличный оркестр на Взморье. Фрагмент открытки из собрания В. В. Эйхенбаума

фонический оркестр в садовой раковине — «Смерть и просветление» Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свое эстраду.

В Дублине... у евреев, оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского и было слышно, как перекликались два струнных гнезда.

Чайковского об эту пору я любил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Нечки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. Обрывки сильной скрипичной музыки я вылавливал в диком граммофоне дачной разногосицы. Не помню, как воспиталось во мне это благоговение к симфоническому оркестру, но думаю, что я верно понял Чайковского, угадав в нем особенное концертное чувство.

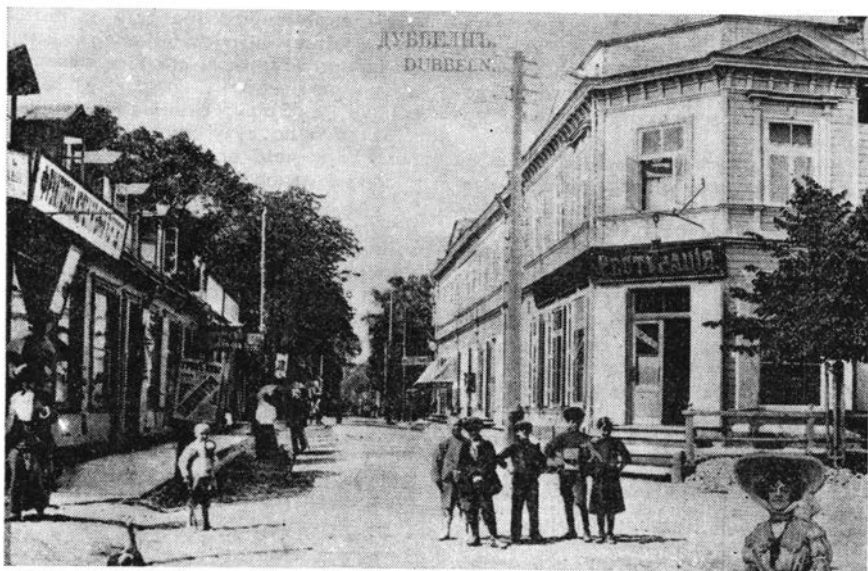
Как убедительно звучали эти размагненные итальянским безволием, но все же русские скрипичные голо-

са в грязной еврейской клоаке! Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шелковому пожару Дворянского собрания и щедроному Скрябину, который вот-вот сейчас будет раздавлен обступившим его со всех сторон, еще немым толкружнем певцов и скрипичным лесом «Прометеев», над которым высится, как щит, звукоприемник — странный стеклянный прибор⁹.

ЭРФУРТСКАЯ ПРОГРАММА

«Чего ты читаешь брошюры? Ну какой в них толк? — звучит у меня над ухом голос умнейшего В. В. Г. — Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми «Капитал» Маркса». Ну и взял, и обжегся, и бросил — вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? «Капитал» Маркса — что физика Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюрка кладет

⁹ Премьера «Прометеев» А. Н. Скрябина состоялась в Петербурге 9 марта 1911 г.



Улица в Дублине (ныне Дубулты). Открытка из собрания В. В. Эйхенбаума

личинку — вот в этом ее назначе-
ние. Из личинки же родится мысль.

Какая смесь, какая правдивая историческая разногололица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубой кэпстен, превращалась в анекдоты об американских трестах, как много историй билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола!

Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодетельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинских лицей.

Книжка «Весов»¹⁰ под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода, ни слова, ни звука, как по уговору, о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Балмонт в почете и недурные у него раздражители, и социал-демократ перерывает горло народнику и пьет его эсеровскую кровь, напрасно тот призывает на помощь своих святителей — Чернова, Михайловского и даже... «Исторические письма» Лаврова¹¹. Все, что было мироощущением, жадно впитывалось. Повторяю: Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущения, а Каутского¹² уважали и наряду с ним протопопа Аввакума, чье житие в павленковском издании входило в нашу российскую словесность.

Конечно, тут не без В. В. Г., формовщика душ и учителя для замечательных людей (только таких под рукой не оказалось). Но об этом впереди, а пока здравствуй и прощай Каутский, красная полоска марксистской зари!

Эрфуртская программа, марксистские ПроPILEи, рано, слишком рано приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение

жизни в преисторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь зорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения («и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде»)? А представьте, что для известного возраста и мгновения Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, подалец сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной.

В тот же год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа¹³ стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмирения поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян-латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью; он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде, с Эрфуртской программой в руках, я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.

Что может быть сильнее, что может быть органичнее: я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим

¹⁰ «Весы» — журнал русских символистов (1904—1910).

¹¹ Виктор Михайлович Чернов (1873—1952), Николай Константинович Михайловский (1842—1904), Петр Лаврович Лавров (1823—1900) — публицисты разных поколений народнического движения.

¹² Карл Каутский (1854—1938) — лидер германской социал-демократии.

¹³ Неточность: Гауя называлась Аа лифляндская (Аа курляндская — Лиелупе).

хозяйством — и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью настроенного далекой

молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!

Александр МОРОЗОВ

ИСТОРИЯ — БИОГРАФИЯ — ОБРАЗ

[Заметки читателя]

Петербургского мальчика везут к дедушке с бабушкой в Ригу*, все равно как нового Багрова-внука из города в фамильную деревню, с такими же длинными сборами; густая патриархальность чужого ему прародительского дома, а рядом распахнутый мир морского побережья, застывший на ветру, как паутина, весь в тоненьких квадратах социального и племенного устройства...

Тем кончается глава, в которой раньше рассказывалось о ближайшем родственном окружении мальчика, о еврейском квартале в Петербурге (не гетто, которого в России не существовало), о посещениях синагоги. О чем же — «Хаос Иудейский»? Названием служит образ, но образ, прямо не выводимый из содержания рассказа, а входящий в него строительным элементом, реализуемый в нерасторжимом, как всегда у Мандельштама, контрастном сочетании. Тем, может быть, важнее себе мысленно представить, хотя бы условно, какую собственную реаль-

ность имеет этот один из самых главных в поэзии и прозе Мандельштама формообразующих образов. Очевидно, «хаос» сгущается на том жизненном полюсе, где ему отвечают понятия типа вечного бытия или мира вещей. Изобилие, бесструктурность, сопряженная физиологическая органика — ему свойственны. У него множество степеней и качественных состояний, неодинаковых в разных укладах жизни, но всем одинаково присущих, в еврейском же обиходном иудаизме он образует свой, **родимый** для Мандельштама, омут. Ясно, что ни к «тяжелой книге» еврейской Библии, ни к другой истории евреев, например той, что открывалась ребенку в причудливом характере речи отца, — «хаос иудейский» отношения не имеет. Как Быт (не Бытие) он противоположит любой истории, — как писал много позднее Мандельштам, в том вечном, что к нему относится, нет «вчерашнего дня... а есть только очень древнее и будущее» (в письмах к отцу, недавно опубликованных «Новым миром»).

«Очень древнее» можно понимать — как сама материя. И слово «иудейский» в этом «древнем» смысле войдет в состав многих образов Мандельштама, — каждый раз далекое от тождества с какой-либо национальностью.

Какой же образ концентрируется вокруг положительного для Мандельштама полюса исторической жизни? В приводимой главе как тема он почти не затрагивается, но все равно незримо присутствует фоном. Именно «гранитный город ставы и беды»

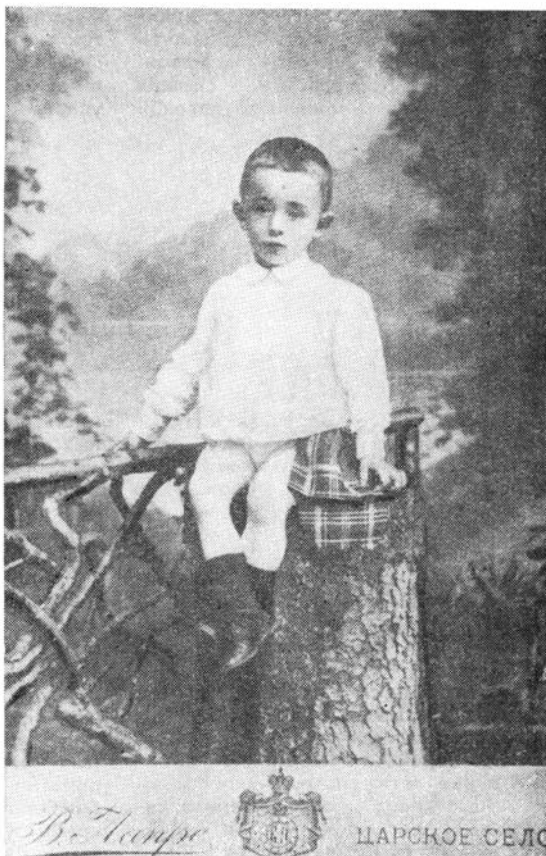
* Латышско-литовские земли, старая Курляндия (местечко Жагоры Шавельского уезда) со всей далекой округой — фамильная родина О. Мандельштама. Сам поэт родился в Варшаве, родители поженились в Двинске. В 1894 г. коммерческая карьера отца (отноюдь не самая удачливая) привела семью сначала в дворцовый Павловск, потом в Петербург. Первым «сознательным и ярким» впечатлением, оставшимся в памяти трехлетнего ребенка, были, о чем рассказывает в «Шуме времени», черные от темноты улицы толпы народа, ожидающие в ночь траурный кортеж предпоследнего самодержца.

В Ригу, уже школьником, Мандельштам ездил с родителями в 1901 г.

кладет на все свою тень, дает всему контраст, разводит по полюсам и соединяет в одно. Разлив открытых гласных в речи матери — как фон широкой реки, на котором воспринимается уже подростком мальчиком «дивное равновесие» гласных и согласных в еврейских песнопениях. Он же («широких рек сияющие льды», — Ахматова) — фон, на котором происходит раннее постижение будущим поэтом тютчевского «эолнского» строя (с его «разливом открытых #» в альпийских стихах, — об этом в другой главе «Шума времени»). Но вот главное, уже сюжетное, из чего возникает контраст. В образе вознесшегося «из топн блат» города зримо реализуется для Мандельштама знаменитая тютчевская антитеза:

«Весь стройный мир
 Петербурга был только сон,
 блистательный покров,
 накиннутый над бездной,
 а кругом простирался
 хаос иудейства,
 не родина, не дом, не очаг,
 а именно хаос, незнакомый
 утробный мир, откуда я вышел,
 которого я боялся, о котором
 смутно догадывался и бежал,
 всегда бежал».

Мираж... Само слово выдает зависимость этого отрывка от другого знаменитого видения, тоже словно наяву реализующего метафору поэта. Видения Достоевского на тех же неясных берегах, о котором великий писатель потом говорил, что с него началось все его существование. Различие, может быть, в том, что у Мандельштама приговор над призрачным городом («я всегда ощущал «старый мир» как нечто законченное и обреченное», — напишет он в 1928 г.) выносится как бы по праву самого рождения, от прирожденного еврейскому мальчику знания об



Ссип Мандельштам в детстве

окружающем матеральном «хаосе». Роковая неизбежность здесь соединима с последним, трепетным, как пух, ощущением жизни. Это роль судьбы и особо жалостливого свидетеля, столь многое помогающая помянуть в будущем отношении Мандельштама к революции. На уровне поэтики, и с той же двойственностью, она будет участвовать в создании его «скорбной книги» («Tristia»). Здесь важно, что именно от соприкосновения с историческим (то есть «созданным»), не соприродным миром возникло у петербургского мальчика щемящее чувство родины, о чем так пронзительно рассказано в предшествующих «Хаосу Иудейскому» главах («нежное сердце города,

с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, карриатидами Эрмитажа...)*.

В главе «Эрфуртская программа» действие также заканчивается на латвийских землях вблизи Риги — в романтическом Зегевольде (Сигулда), среди обрывов, старых дубов, рыцарских замков и заброшенных в лесу кладбищ. Пейзаж у Манделштама «остранен» памятью об утонувшем в обрывистой речке, «достигшем преждевременной зрелости» поэте, чьи стихи звучат, «как лес шумит под корень». Образ подразумевает звучание длинных, обремененных символическим восприятием, романтических строчек, — но почему они шумят **под корень!** И почему «по духу» ближе к погибшему (были толки — добровольно) Коневскому, чем эпохальным романтикам круга Жуковского, оказывается в тот **1906 год** (время действия главы) пятнадцатилетний школьник с Эрфуртской программой в руках? Ответ у Манделштама («потому что») всего лишь пунктир в общей смысловой ткани образа. Он строится по законам поэтики «Разговора о Данте», когда «надо перебежать через всю ширину реки, загроможенной подвижными и разноустремленными джонками... Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса водочников...» И все же надо принять ответ Манделштама и в его прямой функции, со всей беспощадностью вывода, из него проистекающего, и даже собрать относящиеся к нему в «Шуме времени» другие свидетельские показания. Отправной образ тут — революция (название

главы всего лишь образная метонимия), а она, сказано в другой главе, «сама жизнь и смерть... она не примет ни одной капли влаги из чужих рук». Итак, поэт, ознаменовавший ранней смертью свой природно-романтический мир (и, кстати, создавший один из апокалипсических образов Петербурга), оказывается в 1906 г. близким школьнику с Эрфуртской программой в руках, сумевшему этот «зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной» расщепить марксистскими схемами, пересоздать, социализировать и заново населить (да и что сделали для революции эти «источники бытия»? — продолжая цитату из другой главы. — «Куда как равнодушно текли их круглые волны!»). Собственно марксизм здесь мало при чем. Уж если не одно родовое гнездо, и то материальное, что губительно отзывалось на нежной душе города, а весь зримый мир явлен «хаосом иудейским» (однако природа в этом контрастном описании окрашена тоже ностальгически), то мировоззренческую подоснову для его «чистого» отрицания нужно отыскивать в том общем повороте в сторону от бытийственного онтологизма, который известен как неокантианский рубеж столетия. К России он имел самое непосредственное отношение, особенно если вспомнить, какой процент обучающихся в немецких университетах молодых русских составил ядро тогдашних эсеро-террористических кадров. Взрывы эсеровских бомб, потрясших в начале столетия людское воображение, еще найдут свое место в ранней биографии Манделштама*, пока же «любимый ученик Канта», каким его знают в школе, вернется после эрфуртского лета в свой последний класс «совершенно готовым и законченным марксистом». Но ощущение «покрова над бездной» уже приравнено в этой главе **мироощущению**, и — не Каутский, так дру-

* Прежде чем перейти ко второй из приводимых глав, — об одном упоминании в этой, через которое как бы перекидывается мост назад от будущей революционной темы: за десять лет до рождения сына отец Манделштама как нарочно попадает в Петербург, чтобы запомнить, откуда шел минный подкоп, обнаруженный спустя несколько дней после 1 марта 1881 г. (накануне не нашли при обыске). У Манделштама здесь, видимо, сознательно оставлена ошибка, характерная для его работы «с голоса»: лавка «Кобозевых» была не на Караванной, а на Малой Садовой улице (в доме на углу Караванной и Невского был арестован Желябов).

* Действие «Шума времени» завершается поездкой Манделштама в Райволу (Финляндия) в следующем 1907 году, где в присутствии самого Гр. Гершуни он готовится вступить в боевую организацию партии эсеров. «Ночное солнце нового Аустерлица» — конспиративная котелька в ореоле огненных вспышек — отложится потом в образных глубинах его поэзии.

гой — а главное Тютчев все тот же «источник космической радости», «мыслящий тростник» над хаосом бытия, а в числе других важных источников, очевидно в силу придачи личностного напряжения этому космическому чувству, указано житие Аввакума.

Для поэта проза может быть проверкой его метафорического строя. Здесь его проходит испытание на **когда**. Для Мандельштама, написавшего свои записки, стало ясным, что, «лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века» и претворяя его в своей биографии, поэт (у Мандельштама «мы») обретает свой язык. Что хотела поэту сказать семья, чего ждала от него людская забота, он не знает. Его личная память ему враждебна, она занята «не воспроизведением, а отстранением прошлого». Это же, объясненное у Мандельштама его позицией нового разночинца — можно понять иначе. Собственная память враждебна автору потому, что шумящее время, в которое он вырос, — та же бездна, образующая тот роковой **провал**, в который рухнули его родовые семейные связи. Но семья, понимаемая не в смысле прямого родства, а в смысле для Мандельштама благоприобретенном, знаменует у него тот мысленный «пир отцов», за которым стоит весь «разбившийся, конченный, неповторимый» девятнадцатый век русской культуры, от которого на положительном полюсе осталась разве фигура одинокого артиста, зажатого немим полукружием хора. Из огненного рва времени этот безумно роскошный пир «Багровых-внуков» с их семейственными воспоминаниями предстает истинным пиром во время

чумы, где дом когда-то был полная чаша и откуда все еще доносится, — продолжая сборно цитировать недостающие места «Шума времени», — «произносимая всегда, казалось в последний раз, просьба: „Спой, Мэри!“».

От того же лета 1906 г., проведенного в Зегевольде, или, по крайней мере, от времени, к нему примыкающего, до нас дошли, может быть, самые первые стихи Мандельштама. Тогда в прибалтийских губерниях еще догорал 905-й, здесь превосходящий своим ожесточением все, чего бы ни было в тот год страшного. В главе скуными красками рисуется эпилוג одного из повсеместных там крестьянских восстаний, но того ли, о котором повествуется в стихах, нельзя сказать с уверенностью, — написаны они явно не «памятью зрения». И хотя уланы с пиками — тогдашний по времени образ карательных экспедиций в Прибалтике, значение его у Мандельштама — символическое. Стихи поражают именно напряженной символизацией действия, в конце приобретающего злое еще пророческий оттенок, что уводит их далеко к стороне от народнической традиции. («Блок уже был прочтен», — замечено в «Шуме времени»). Впрочем, народническое чувство в этих стихах неподдельно, а если говорить о традиции, то она восходит непосредственно к первоисточникам (Некрасов, «Вырыта заступом яма глубокая...» Никитина). Финальные же строки каждого стихотворения, в силу присущего им контрастного сопряжения, таят в зерне поэтику будущего Мандельштама времени даже не «Камня», а следующего.

Александр МЕЦ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА

На лето 1906 года О. Э. Мандельштам вместе с матерью и братьями поселились в Зегевольде. Поселок еще носил печать недавних революционных событий: по воспоминаниям брата поэта Евгения (тогда семилет-

него мальчика), у одной из помещичьих усадеб стояла разбитая пушка. Разговоры с местными жителями были полны подробностями событий прошедшей зимы.

В Зегевольде революционные со-

бития вспыхнули в октябре 1905 г. Началось с собраний в здании волостной управы. Вскоре батраки выступили с оружием в руках. Бароны окрестных поместий и священники укрылись в замке; из него специальным поездом бежали в Ригу. Попытка восставших пустить поезд под откос закончилась неудачей. В январе 1906 г. поселок был занят отрядом русских войск (вероятно, драгун), которые расправились с восставшими. 14 января были казнены те руководители восстания, которых удалось схватить: батраки Десайнис, Пален и железнодорожник Цирнонис. Возможно, что летом 1906 г. в поместье еще оставались войсковые части.

Позднее, осенью (или в начале зимы), юноша написал стихи, в которых отразились впечатления этого лета:

Тянется лесом дороженька
пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплавав слезы обильные,
Спит и во сне, как рабыня
бессильная,
Ждет неизведанных мук.

Вот задрожали березы
плакучие
И встрепелулися вдруг,
Тени легли на дорогу сыпучую:
Что-то ползет,
надвигается тучею,
Что-то наводит испуг...

С гордой осанкою, с лицами
сытыми...
Ноги торчат в стремях.
Серую пыль поднимают копытами,
И колеи оставляют изрытыми...
Все на холеных конях.

Нет им конца. Заостренными
пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней
и криками,
И огоньками звериными, дикими
Черные очи горят...

Прочь! Не тревожьте поддельным
веселием
Мертвого, рабского сна.
Скоро порадут вас новоселием,
Хлебом и солью,
крестьянским изделием...
Крепче нажать стремя!

Скоро столкнется с звериными
силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле
могилами,
Синие пики обнимутся
с вилами
И обагрятся в крови!

* * *

Среди лесов, унылых
и заброшенных,
Пусть остается хлеб
в полях нескошенным!
Мы ждем гостей незваных
и непрошенных,
Мы ждем гостей!

Пускай гниют колосья
перезрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить вам,
честные и смелые,
Своих голов!

Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое,
Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!

Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные,
озверелые...
Не остановят их седины старца
белые,
Ни детский плач!..

Среди лесов, унылых
и заброшенных
Мы оставляем хлеб
в полях нескошенным.
Мы ждем гостей незваных
и непрошенных,
своих детей!

Эти стихи Мандельштама, самые ранние из ныне известных, были помещены в журнале Тенишевского училища «Пробужденная мысль» (1907, вып. 1)¹. Первое стихотворение подписано красноречивым псевдонимом «Фитиль», который соотносится в нем с мотивом незавершенности революции (Скоро столкнется... Скоро покроется...). Интересно, что поэт не предал забвению эти юношеские стихи и читал их в 1911 или 1912 году Георгию Иванову, с кото-

¹ Единственный известный нам экземпляр этого номера был найден Г. Дальним и В. Сажиным, которым приношу свою благодарность за сведения о месте его хранения.

Линде близ станции Мустамяки Финляндской железной дороги и скрывающийся оттуда во время арестов летом прошлого года, — в настоящее время проживает в новом пансионе «Лейно» в деревне Неувола Ускирского прихода и занимается противоправительственной агитацией между проживающими в 9 пансионатах около станции Мустамяки. Пансионаты эти часто посещаются многими лицами, приезжающими из С.-Петербурга на короткое время, и здесь устраивают собрания, на которых присутствует Мандельштам и приез-

жие гости. Собрания происходят большей частью в пансионе Рабиновича (близ станции Мустамяки). (. . .)».

Сведения об «агитации» при дальнейшем негласном расследовании не нашли прямого подтверждения; остальные — косвенно подтверждаются материалами других архивных и мемуарных источников.

Таковы некоторые факты биографии поэта, оказавшейся связанной и с революционными событиями в Латвии.

ЗАБЫТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

Публикуемые здесь воспоминания принадлежат двум авторам, видевшим только раннего Мандельштама:

Михаил Михайлович Карпович (1888—1959) — историк, преподаватель русской истории в Гарвардском университете, редактор нью-йоркского русского «Нового журнала». Из его заметки мы узнаем о нескольких не дошедших до нас сочинениях Мандельштама. Не менее важно и интересно свидетельство о внимательном и непредвзятом отношении ревностного акмеиста к декларациям футуристов. Футуристский образ «парохода современности», вызвавший спор поэта с М. М. Карповичем, возможно откликнулся мотивом «корабля Времени» в мандельштамовских «Сумерках свободы».

Константин Васильевич Мочульский (1892—1948) — филолог-романист, приват-доцент Петербургского университета. В эмиграции написал книги о Вл. Соловьеве, Гоголе, Достоевском, Андрее Белом. Он несколько раз писал о поэзии Мандельштама при жизни поэта. Рецензия его на книгу «Tristia» интересна между прочим и как отчет о восприятии одного из наиболее близких поэту читателей (в 1913 г. Мандельштам написал ему сборник «Камень» — «филологу, чудесно понимающему, что такое стиль»), как фиксация «зон непонимания» в стихах Мандельштама:

«... стихи его совсем особенные — из какого-то непостижимого матери-

ала они сделаны. От незначительного упора внимания легко разрывается пелена знакомости, «обыкновенности» его выражений, и мы с изумлением замечаем, что нет в его стихах ни одного слова, которое не было бы им заново, целиком создано изнутри.

...На нитях стихов Мандельштама среди живых жемчужин встречаются изредка мертвые, серые. Пустая форма: без души — без выражения. Но это исключения; он предпочитает оставить строфу незаконченной, чем заполнить ее мертвым грузом. Так, в стихотворении «Не веря воскресенья чуду» великоленному кадансу

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим

не было найдено вступления. Многочисленные, часто превосходные варианты решительно отбрасывались автором. Они не удовлетворяли его «внутреннему образу», «звучащему слепку» стихотворения.

Наконец, в редких случаях, когда всякое конкретное значение лишь затемняет и искажает лик Психеи — поэт разрывает на мгновение смысловую ткань и только длит мелодию, поддерживая ею единство целого.

Такова странная логически, но художественно убедительная строфа в стихотворении «Что поют часы-кузнечик»:

Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно,

Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Отмеченные шероховатости фактуры — пылинки на изумительном полотне этой поэзии.

...Единственному из современных поэтов — Мандельштаму было дано на русском языке писать латинские стихи.

...Темы, образы, мифы древности — родные; он их узнает. «И сладок нам лишь узнаванья миг». Ведь мифология есть тоже попытка одухотворенья мира»¹.

Толки о «русской латыни» сопровождали в десятые годы выход стихов Мандельштама к аудитории. Художник Лев Бруни писал: «... в поэзии Мандельштам сделал из русского языка латынь не потому, что язык нашел свои законченные формы и перестал развиваться, а потому, что еврейская кровь требует такой чеканки, что вялостью кажется еврею гибкость русского языка...»².

Некрологическая заметка Мочуль-

ского написана после того, как в русской парижской печати на основании рассказа одного представителя ленинградской интеллигенции, бывшего проездом в Париже, появилось сообщение: «Скончался поэт О. Э. Мандельштам (вне Ленинграда)»³. Мандельштам у Мочульского возникает в окружении неназванных обитателей «профессорского уголка», дачи Е. П. Магденко: художников В. И. Шухаева и А. М. Зельмановой, поэтов С. Л. Рафаловича и А. Д. Радловой, филологов В. А. Чудовского, А. Л. Слонимского, В. М. Жирмунского, А. А. Смирнова и других. Последнее безмятежное лето этой компании петербуржцев было буквально пропитано стихами Мандельштама. Его мадригал Саломее Андрониковой «Дочь Андроника Комнена...» откликнулся в стихах С. Рафаловича, написанных в Алуште тому же адресату:

Меж тем, как за руном пустилась
в путь Россия,

¹ «Последние новости», Париж, 1922, 14 октября.

² «Новый журнал для всех», 1915, № 4, с. 37.

³ С. М. Беседа с ленинградцем. — «Русский патриот», Париж, 1945, 3 марта. Автор заметки, по-видимому, — поэт М. А. Струве.



Вокзал в Дуббельне (ныне Дубулты). Начало века. Открытка из собрания В. В. Эйхенбаума

чают Новый год. В тот вечер и я «пировал» в одном из кафе на Бульваре, в небольшой компании русской молодежи. По соседству с нами, за отдельным столиком, сидел какой-то юноша, привлечший наше внимание своей не совсем обычной наружностью. Больше всего он был похож на цыпленка и это сходство придавало ему несколько комический вид. Но вместе с тем в чертах его лица и в красивых грустных глазах было что-то очень привлекательное. Было ясно, что среди происходившего вокруг него шумного веселья он чувствовал себя потеряннным и одиноким. Мы предложили ему присоединиться к нам, и он с явной радостью на это согласился. Мы узнали, что его зовут Осип Эмильевич Мандельштам.

В этот вечер мы с ним разговорились и быстро установили общность наших литературных интересов. Я дал ему свой адрес, и он пришел ко мне чуть ли не на следующий день. С тех пор и до моего отъезда весной 1908 г. в Россию мы встречались очень часто — не меньше чем несколько раз в неделю. Я не могу вспомнить, где он жил, и из этого заключаю, что обычно он приходил ко мне или вернее — за мной, так как беседы свои мы вели либо сидя в кафе, либо бродя по парижским улицам. Иногда мы ходили вместе на концерты, выставки, лекции. Мандельштаму было тогда семнадцать лет, мне — девятнадцать. Предвидеть, что он станет одним из крупнейших русских поэтов нашего времени, я конечно не мог. Да и вообще, в ранней молодости личные отношения носят более непосредственный и бескорыстный характер. Поэтому я Мандельштама не пытался «изучать» или «оценивать» и наших с ним разговоров не записывал. А память моя, увы, сохранила очень немного.

Больше всего меня поражала в нем его необыкновенная впечатлительность. Казалось, что для него действительно были еще новы «все впечатленья бытия» и на каждое из них он откликался всем своим существом. В нем была тогда юношеская экспансивность и романтическая восторженность, плохо вяжущаяся с его позднейшим поэтическим обликом. Ничего каменного в будущем

творце «Камня» еще не было. Не могу вспомнить ничего специфически «мандельштамовского» и в тогдашних его эстетических вкусах и литературных увлечениях. В моем воспоминании они представляются мне довольно эклектическими. Помню, как он с упоением декламировал «Грядущих гуннов» Брюсова. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою версию *Gaspard Häuser's*⁸. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора. Мы оба (какую!) были потрясены «Танцем Саломеи», а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее. К стыду своему, ни одного из ранних стихотворений Мандельштама я не запомнил. Были ли среди них те четыре, помеченные 1908 годом, которыми открывается «Камень», — тоже не помню. В апреле 1908 г. я ездил на две недели в Италию. Мандельштам принял очень близко к сердцу это мое первое итальянское паломничество и отозвался на него стихами. Но даже из этого, мне посвященного, стихотворения в памяти сохранилась почему-то только одна строка: «поднять скрипучий верх соломенных корзин» (в моем багаже действительно была такая, вывезенная из России, корзина).

Не помню, чтобы мы когда-либо говорили с ним на общественно-политические темы. В «Шуме времени» Мандельштам, вспоминая свои школьные годы, рассказывает и об Эрфуртской программе, на время сделавшей из него «законченного марксиста», и о своем соприкосновении с эсеровской средой в семье Синани. Сомневаюсь, чтобы эти ранние впечатления оставили в его душе какие-либо прочные политические следы. Весной 1908 г. в Париже умер Гершуни, и эсерами было устроено собрание, посвященное его памяти. Мандельштам выразил живейшее желание со мной туда пойти, но ду-

⁸ Каспар Хойзер (1812—1833), загадочный нюрнбергский найденный, прошедший детство в унизительном заточении и подозревавшийся в высоком происхождении, — герой стихотворения Поля Верлена (в сборнике «Мудрость»).

маю, что политика здесь была ни при чем: привлекали его, конечно, личность и судьба Гершуни. Главным оратором на собрании был Б. В. Савинков⁹. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад — так что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический. Помню, как сидевшие с другой стороны прохода А. О. Фондаминская и Л. С. Гавронская¹⁰, несмотря на всю серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама.

О своей семье Мандельштам мне почти ничего не говорил, а я его не расспрашивал (биографический интерес к людям тоже пробуждается позднее в жизни). Как-то раз только, не помню уж в какой связи, он дал мне понять, что в его отношениях с родителями не все было ладно. Он даже воскликнул: «Это ужасно, ужасно!»; но так как он вообще злоупотреблял этим выражением, то я тогда же заподозрил его в преувеличении. Я и сейчас думаю, что если родители Мандельштама дали ему возможность жить в Париже и заниматься чем он хочет, то значит не так уж равнодушно относились они к его желаниям и не так уж тяжки были лежавшие на нем семейные пути. Во всяком случае, в нем не чувствовалось никакой связанности или ущемленности. Он был беспомощен в житейских делах, но духовно он был самостоятелен и, я думаю, достаточно в себе уверен.

Когда поздней весной 1908 г. я уезжал из Парижа, Мандельштам там еще оставался. В следующий раз я встретился с ним уже в Петербурге. Думаю, что это было в 1909 г. — во всяком случае до его поездки в

Германию¹¹. Встретились мы с ним очень дружески и в течение моего кратковременного пребывания в Петербурге виделись несколько раз. Помню, что он был вместе со мной и с моей матерью на каком-то концерте и потом провожал нас до нашего дома. Было уже поздно, и потому моя мать не просила его зайти, а ему, видимо, очень не хотелось уходить и, прощаясь, он сказал: «всякое расставание всегда болезненно». В эту нашу встречу он дал мне рукопись своей статьи, которую он просил меня передать П. Б. Струве как редактору «Русской мысли»¹². Содержание этой статьи в памяти моей тоже не сохранилось. Вспоминаю только, что это было нечто лирико-критическое, о поэзии и что центральную роль в статье играл образ Снегурочки (кажется, она даже называлась «Снегурочка»). С П. Б. Струве я тогда еще лично знаком не был и передал ему статью Мандельштама через А. А. Корнилова¹³. О дальнейшей судьбе этой статьи я ничего не знаю — кроме того, что в «Русской мысли» она не появилась.

После того я видел Мандельштама еще один раз — в 1912 г. В промежуток у нас с ним никаких сношений не было. Он жил в Петербурге (на время уезжал в Германию), а я в Москве, и мы не переписывались. В Петербург я приезжал не так часто и всегда на короткий срок. В один из таких приездов я случайно, после трехлетнего перерыва, встретился с Мандельштамом на лекции Бурлюка¹⁴ (кажется, в Тенишевском училище). Мандельштам показался мне очень изменившимся: стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мною он встретился без особой теплоты и во всяком случае без каких-либо следов прежней экспансивности. К тому же мы разошлись в нашем

⁹ Григорий Александрович Гершуни (1870—1903) и Борис Викторович Савинков (1879—1925) — видные деятели боевой организации партии социалистов-революционеров.

¹⁰ Амалия Осиповна Фондаминская (ур. Гавронская) (ум. в 1935) и Л. С. Гавронская (ум. в 1942?) — общественные деятельницы эсеровского полка.

¹¹ Осенью 1909 г. Мандельштам поехал учиться в Гейдельбергский университет.

¹² Петр Бернгардович Струве (1870—1940) — публицист, политический деятель.

¹³ Александр Александрович Корнилов (1862—1925) — историк.

¹⁴ Давид Давидович Бурлюк (1882—1967) — лидер кубофутуристов.

отношении к футуризму. Я испытывал сильное от него отталкивание, а Мандельштам в какой-то мере его защищал и во всяком случае был им серьезно заинтересован. На мое замечание, что я «предпочитаю корабль вечности кораблю современности» (теперь я так цветисто не выразился бы), он ответил мне, не без некоторого раздражения: «вы не по-

нимаете, что корабль современности и есть корабль вечности».

Не думаю, однако, чтобы это теоретическое расхождение сыграло какую-либо роль в фактическом прекращении нашего знакомства. Просто наши жизненные пути разошлись, и мы перестали быть друг для друга достаточно интересны. Больше я Мандельштама не видел.

Константин МОЧУЛЬСКИЙ

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ¹⁵

Умер Осип Эмильевич Мандельштам — самый замечательный из современных русских поэтов после Блока и самый неочтенный. В одном из ранних его стихотворений есть строчки:

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите мне, благодарить?¹⁶

Эта «тихая радость» всегда светилась в нем, он был полон ею и нес ее торжественно и бережно. Доверчивый, беспомощный, как ребенок, лишенный всяких признаков «здорового смысла», фантазер и чудак, он не жил, а ежедневно «погибал». С ним постоянно случались невероятные происшествия, неправдоподобные приключения. Он рассказывал о них с искренним удивлением и юмором постороннего наблюдателя. Как пушкинский Овидий, —

Он слаб и робок был как дети¹⁷,

но кто-то охранял его и пронесил невредимым через все жизненные катастрофы. И, как пушкинский Овидий, —

Имел он песен дивный дар...

Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком

и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза, — у него были веки прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву.

Читая стихи, он погружался в «аполлинический сон», опьянялся звуками и ритмом. И когда кончал, — смущенно открывал глаза, просыпался.

В 1912 году Осип Эмильевич поступил на филологический факультет Петербургского университета¹⁸. Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего

¹⁵ «Встречи». Сб. 2, Париж, 1945, с. 30—31.

¹⁶ Из стих. «Дано мне тело — что мне делать с ним...» (1909).

¹⁷ Из поэмы Пушкина «Цыганы».

¹⁸ Неточность: Мандельштам поступил в Петербургский университет в 1911 году.

в Алуште банку какао. На обратном пути в «Профессорский уголок» он сочинял стихи и в рассеянности съел все какао. Какие-то кредиторы грозили ему: с кем-то он вел драматические объяснения. Но эти невзгоды были ничто по сравнению с настоящим горем, которое он пережил в конце этого крымского лета 1916 года²¹. Я помню, с каким вдохновением он сочинял одно из лучших своих стихотворений:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.

И две последние строки второй строфы возникли сразу в своем законченном великолепии:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим...

Но первые две строки? Их не было. Напрасно Мандельштам повторял эти стихи, надеясь, что они приведут за собой недостающие рифмы, — они не приходили. Я никогда не видел его в таком отчаянии. «Вот я слышу», — говорил он:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим...

а перед этим — пустое место, как бельмо на глазу. Ничего не вижу». Простодушно он просил друзей помочь ему, сочинить две строчки. Так

²¹ Неточность: ранее все время речь шла о лете 1917 г.

они и не сочинились. В сборнике «Tristia» на месте их стоит два ряда многоточий.

Словесное мастерство Мандельштама роднит его с Тютчевым. Вспоминаю его стихотворение о смерти:

Когда Психея-жизнь спускается
к теням,
В полупрозрачный лес вослед
за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к
ногам
С стигийской нежностью и веткою
зеленой.

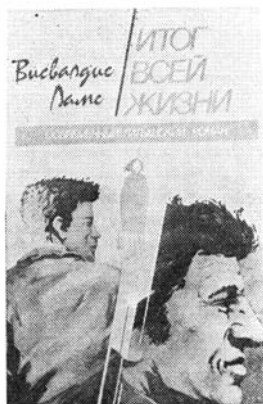
И последняя строфа:

И в нежной сутолке не зная, что
начать,
Душа не узнает прозрачные
дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит
передать
Лепешку медную с туманной
переправы.

Эти стихи беспримерны в русской поэзии. Они вызывают изумление: слова звучат странной, непривычной музыкой. Кажется, что написаны они на чужом языке, древнем и торжественном, как язык Пиндара.

Мандельштам писал мало, с трудом и напряжением; боролся с «материалом», преодолевал «недобрую тяжесть» слов. Он издал два тоненьких сборника стихов: «Камень» и «Tristia» и небольшой сборник статей «Шум времени».

Публикация
Романа ТИМЕНЧИКА



«... УЧЕННЫЕ ДОЛЖНЫ ПРАВИЛЬНО УЧИТЬ, КАК ЖИТЬ НАДО»

Если названия текстов воспринимать не как необходимое зло, то название книги Ламса предвещает о чтении весьма серьезном. «Итог всей жизни». У читающего имеются мнения на сей счет, пристрастное отношение к тексту гарантировано (читатель будет, например, оберегать свои представления о жизни). И, разумеется, книгу тут же отложат, обнаружив авторскую склонность к морализаторству и «правильным» словам.

Другой исходный момент. «Итог всей жизни» написан в 1972 г., — «Кукла и комедиант» в 1970 г. То есть это романы периода, нареченного ныне «застойным». Вряд ли при теперешнем наплыве первопубликаций полувекковой давности читатель по своей инициативе вернулся бы к перечитыванию книг предыдущего десятилетия. Переиздание Ламса поэтому весьма кстати — напомнить, например, об этом столь мучительно тянувшимся и как-то слишком уж скоро позабытом времени.

И еще: это произведения о рабочих. Как говорится в аннотации: «роман «Итог всей жизни» посвящен судьбе старого рабочего, сварщика, осмысливающего свой жизненный путь».

Итак, роман под названием «Итог всей жизни» (речь в рецензии пойдет преимущественно об этой вещи), роман о рабочих, написанный и опубликованный в годы расцвета застоя. Что уж тут поделывать, все это вместе как-то... ну, скажем, знакомо. Но — начинаются приятные неожиданности. Во-первых: романы написаны прекрасным русским языком (переводчик — Ю. И. Абызов); во-вторых: речь о латышах, жизнь которых не очень-то уложима (хотя бы из-за иного прошлого) в традиционные схемы; в-третьих: персонажи себе на уме и жить хотят своим умом; в-четвертых: милые всякому рижанину городские реалии; в-пятых: интересны воспоминания героев плюс вновь реалии Риги, теперь уже полувекковой давности, причем тут автору удалось, например, даже не упомянуть кафе Шварца — без которого, кажется, не обходится ни одно описание

Висвалдис Ламс. Итог всей жизни. Кукла и комедиант / Пер. с лат. Ю. Абызова. — Р.: Лиесма, 1987.

Риги тридцатых (сказанное выше относится к обоим романам).

И внимание, несколько ослабленное после уяснения времени и темы разговора, восстанавливается. Речь, похоже, пойдет всерьез. Тем более, что на первой же странице и сам автор найдет способ откеститься от не вполне добросовестных коллег.

Немолодой, одинокий сварщик Эбар поселяет у себя своего нового напарника Ария — тому негде жить. Какое-то время они вместе работают, подрабатывают на халтурах, разговаривают о жизни. Затем Эбар отказывает Арию от квартиры. Следует несуразный дебош, устроенный старым мастером, и на следующее утро он умрет от разрыва сердца, взяв на мелководье с трубопроводом. Молодой живет дальше и продолжает заниматься тем, чем они занимались еще вместе с Эбаром. Размышляет о жизни.

Размышления эти порождены ситуацией: под одной крышей оказались два человека, находящиеся по обе стороны основного, зрелого времени жизни. Серьезные годы Ария впереди, у Эбара впереди старость. Чем эта жизнь была для него и кем его сделала? Эбар прекрасный работник, но работа, оказывается, не может составить судьбу. У Ария — свой повод к размышлениям. Пора определиться окончательно, такой возраст. Оба героя одиноки и не имеют близких, ситуация, таким образом, почти лабораторная; разумеется, вполне возможная. Итак — что есть в жизни, кроме работы?

Теперь вспомним, когда происходит эта история. Это годы, когда было непонятно, зачем нужна станция Иманта, когда «расцвел и отцвел культ кукурузы, когда человек облетел Луну». То есть кончатся шестидесятые. Это время, когда люди, поверившие обещаниям Хрущева, стали понимать, что обещаниям (а с материальными благами явно связывалась и возможность счастья) сбыться не суждено. Очередным словам и обещаниям верить переставали, не переставая, однако, желать каких-то других, более достоверных объяснений.

В эти годы выдыхался коллективный договор, по которому жизнь сводилась к системе хозяйственных взаимодействий: рабочий создает материальные ценности, сфера обслуживания обслуживает, культработники снабжают культурой, а специально подготовленные люди объясняют, как жить и что делать. Ты хорошо делаешь свое дело и, в силу разделения жизни, обеспечиваешься остальным, потребным для счастья. С неисполнением обещаний, со вторичным крушением иллюзий рушилась и вера в эту стерильную схему. С жизнью приходилось разбираться самому. Что, например, есть в ней, кроме работы?

Изобразительные средства являются надежным индикатором реальности, существенности того, к чему они применяются. На щебенке мало что растет. Чем существеннее повод к речи, тем раз-

нообразнее должны быть средства, тем фактурнее оказывается текст.

Лучшее в романе — описания работ. Да, просто описания процесса. Человек просто работает руками (у Ламса при этом он работает и головой). Сваривает, долбит, возится с муфтами. Средства изображения здесь разнообразны: прямое изложение действий перебивается внутренним монологом, мыслями — как связанными с делом, так и вполне отвлеченными, в текст равноправно входят ощущения героя; звуки, запахи, цвета; точны психологические реакции и мотивировки. Весьма хороши также воспоминания героев.

И оскудение изобразительных средств мгновенно сигнализирует, что речь зашла о вещах несколько надуманных. На первый план выходят монологи и диалоги — практически те же монологи, поддерживаемые собеседником лишь потому, что это требуется автору. Место описания занимает ремарка. Здесь этим страдают рассуждения героев — о том, что есть жизнь, одинок ли человек, каким надо быть, чего желать. Можно, вероятно, списать скудость получаемого в этих беседах результата на уровень понимания персонажей. Эбар: «Вот я считаю, что ученые правильно должны учить, как жить надо». Но само это списание на степень понимания представляется нелепым. Ведь желание получить ответы на подобные вопросы — не голод, который можно утолять в предприятиях общепита разного пошиба и разных наценочных категорий. Нет здесь набора решений, соответствующих разным уровням развития. Да и нет их вообще, ответов.

Во всем этом надо жить постоянно. Поэтому понятны неприятности, которые ожидают автора, вздумавшего заняться «вечными темами», представляя их как некие отдельные самостоятельности. Ведь чтобы «поставить героя перед проблемой», требуется отделить ее предварительно от персонажа. Но что в состоянии понять с ходу оказавшийся «перед проблемой» герой? К тому же весьма трудно достичь подобной его невинности. Такие затруднения разрешимы помещением героя в экстремальные ситуации, при этом он имеет шанс сделаться придатком ситуации. Если экстремальности взять неоткуда, то героя приходится несколько насильно разворачивать в сторону мыслей, желательных автору.

Здесь от подобного положения дел страдает прежде всего молодой герой. Жизнь Эбара определена, она была, она весома и реальна, у него есть опыт, а молодому герою приходится оперировать абстракциями. Но это бы полбеды. Хуже то, что сам Арий существует в романе как-то приблизительно. Кое-как вытянутый учителями на аттестат, участник блатной компании, едва не осужденный за изнасилование, он вдруг предстает перед читателем человеком мягким, сострадательным, с милой улыбкой, серьезно

относящимся к труду, он бросает курить, любит стихи, ходит в оперу и т. п. По роману выходит, что таким его сделала армия. Ладно. Но каким-то роковым образом с Арием связываются и бытовые несуразности текста: герой, например, подрабатывает **по вечерам, до поздней ночи** на кладбище с бригадой «внештатников» (причем не то чтобы роет впрок могилы, хоронит!), или умудряется доехать на трамвае до Чертового озера. Как персонаж, Арий бы просто не оформился, не удайся автору прием: создание постоянного собеседника Ария, его внутреннего голоса, почти материализованного кличкой Жук. Станным образом, этот Жук — нечто, некто, кем бы Арий не хотел сделаться — и обеспечивает романное существование самого героя.

Арий — если поверить автору на слово — тянется к культуре. Почти случайно, на одной из вечерних работ он знакомится с женщиной из «интеллигентского» сословия. Он ею увлечен, к тому же его тянет к этому непонятному, «вышнему» миру. Знакомство неуклюже поддерживается, следуют несколько встреч, разговоры. Но разговоры не удаются. Диалоги куцы, темы их надуманы, описания просто вялы. И другими они, увы, быть просто не могут, поскольку интеллигенция у Лама представляется набором деталей и ключевых слов (доценты, дипломы, профессорства-лауреатства, умение одеться, дачи-машины, кофемания, чуть ли не хлеб без корок). Вряд ли так видит интеллигенцию сам автор, персонажи, понятное дело, вольны иметь любое мнение, но серьезного разговора в этих условиях возникнуть не может. И возможность понять здесь что-то для себя — отрезается. Да впрочем, молодой герой не хочет понимать, он владет хочет.

Так что же есть в мире помимо работы? Есть громадное количество разнообразных форм жизни. Один устроился так, другой — по-другому, но все эти варианты представляются героям изолированными. Окружающее не понимается, не регистрируется. Диалог, беседа с окружающими — невозможны, потому что нет основы, среды, в которой подобный разговор возможен. А среды нет потому, что у героев нет своей точки зрения на мир. А раз ее нет, то разрешению вечных проблем не помогут ни журнал «Наука и техника» — Эбару, ни стихи — Арию. И если ее нет, то целостно мир воспринят быть не может, все так и будет видеться отдельным — что относится как к персонажам, так и, в результате, к самому роману.

Наверное, мы имеем дело с людьми, которые самостоятельно отыскать эту точку не в состоянии. Которым требуется приемлемое, общедоступное объяснение окружающего. Эту функцию (среди многих других) выполняла религия. Такой точкой зрения была идея спланированного разделения жизни, обеспечивающего общность целенаправленного движения к счастливому завтра.

Когда идея выдохлась — многие потеряли ориентиры. Но жизнь чем-то все равно должна склеиваться в целое. Чем? Разумеется, частной жизнью.

Эбар занят воспоминаниями. Будь он человеком семейным, подобные проблемы вряд ли бы его донимали. Но семьи нет, а вехами, выстраивающими воспоминания, оказываются для него женщины. И потому, когда Эбар обращает внимание на свою соседку, семнадцатилетнюю девочку, ни о каких таких отношениях с ним и не помышляющую, причина этому не мужское желание, а желание убедить себя — жизнь еще длится. Ряд продолжаем. Девушку — не подумав, разумеется, о старшем товарище — увлекает Арий. Жизнь, выходит, кончена. Остается умереть.

В отсутствие миропонимания преемственность невозможна, существует лишь физическое следование одного за другим. Эбар умер, Арий все еще на распутье. Некоторая преемственность, впрочем, наличествует, ведь в традициях старшего товарища выбор Ария состоит в выборе: с простенькой ли Лилией или с инженером Региной развивать свои отношения.

Так что же есть в мире, кроме работы? Не вполне некстати вспоминается газетное, годичной давности, выступление председателя, кажется, Республиканского общества трезвости, в котором тот, завершая отчет об успехах и численном росте общества, почти дословно повторил слова Эбара, сказав, что теперь все ожидают от ученых рекомендаций — чем занять свое время бросившему пить. Вот ведь незадача какая... Но в самом деле — а чем?

Андрей ЛЕВКИН

КТО ЖИВЕТ В ЭТОМ ДОМЕ?



В последнее время литература молодых привлекает все большее внимание как книгоиздателей, так и читателей. Кажется, наконец проходит то время, когда критики с умиленным удивлением констатировали, что молодые, оказываются, тоже пишут. Как бы то ни было, молодые поэты идут к своему читателю. Одним из шагов на этом непростом пути является и рецензируемая книга. Не все в ней равноценно. Но то, что книга издана в Москве и, следовательно, претендует на внимание общесоюзной читательской аудитории, уже можно расценивать как важный для молодой латышской поэзии факт.

Ранцане скорбит об уходящей деревне, о подразумеваемом деревенском детстве... Но только ли? Судя по популярности стихов поэтессы, опубликованной в неполные тридцать лет уже две книги, читатели находят в ее стихах нечто большее, чем ностальгию по весьма условной «буколике». По-видимому, деревня (точнее — хутор) в ее стихах — не столько уклад, бытовизм, сколько родина, Латвия, Дом Латышей — место, отвоёванное у пространства и капризов истории и — забегая вперед — брошенное, возвращенное этому пространству. Итак, Латвия для поэтессы — это именно хутор, а не город (ни города, ни городских реалий в стихах Ранцане вообще нет), так же как и не загородная дача или колхозный коттедж. Это характерно для латышей вообще, включая и горожан.

Беда в том, что русский читатель, особенно читатель книги, выпущенной в Москве, обстоятельства этого может и не знать, и для него эти стихи неминуемо прозвучат как стихи о деревне и только, то есть, в конечном счете, О ДРУГОМ. Переводы же акцентируют именно эту, видимую и наименее сложную смысловую данность:

Больше никто не придет. Лишь дрогнут
окна,
тени в угол забьются от страха,
в бревнах спрячутся, в дырочках от сучков.
Босоногое, ночью — на плечах лишь
рубаха, —

будет дыханье ходить по скрипучему полу,
двери лаская, как боль немую в глазах,
выплаканных и пустых. Лучик света в них
заржавел, будто нож, вонзенный в косяк.

Они приходили сюда и уходили — порог,
устало отмахиваясь, отвечает...
Зеркало, брошенное в углу, черты одного —
своего — лица изучает.

Сосны на дюнах: Стихи /
Сост. и пер. с лат. Дмитрия
Цесельчука. — М.:
Молодая гвардия, 1987.

Дом опустел. Здесь жили люди, а теперь — лишь сквозняк да зеркало, магический и наиболее «нуждающийся» в присутствии человека предмет, оживший в обезжизненном пространстве, болезненно «заикленное» на собственном отражении. Дом (именно так и называется стихотворение) — это, в отличие от природы, космоса — пространство интимное, созданное людьми и для людей. Незаселенный, покинутый дом производит абсурдное и неизменно трагическое впечатление — В ДОМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ — и воображение заселяет его призраками. Одним из таких призраков — причем вполне материальным, и становится «саморефлексирующее» зеркало, рождающее бесконечность параллельных зеркальных поверхностей, безумие, ибо пустой дом — дом безумный, дом, не существующий для людей, «недом».

Как понять эту, повторяющуюся из стихотворения в стихотворение явную тематическую узость и ограниченность интерпретации темы? Не будем пытаться объяснить феномен поэзии с позиций здравого смысла — такие попытки неизбежно приводили к уничтожению поэтического. Что же касается зеркала — для меня это не только символ большой беды латышской литературы — национальной замкнутости, но и критического взгляда самого автора на свое творчество. Если это так — у Ранцане впереди долгая дорога... Да, поэзия Ранцане трагична, но не беспросветна. Вера, Надежда, Любовь — слова женского рода. Именно в женщине (матери) Ранцане пытается найти то животворящее, создающее начало, которое в конце концов победит:

За дверью той, что не спит по ночам
и штопает длинный чулок одиночества,
живет эта женщина. Приходи хоть сейчас,
излечит она твои горести.

Не думаю, что по переводам, помещенным в книге, можно объективно судить о даровании Клавса Элсберга. Прискорбно, что в книгу не помещены некоторые программные его вещи, в частности «Вошедший» (в кн. «Октава»: Лиесма, 1987).

Из имеющихся наибольший интерес вызывают «Небольшая поэма в семи частях» и «Покачивающаяся ножка» — переводчику заметно легче дается передать фарсовость, присущую «несерьезным» стихам Элсберга, чем метафорическую многослойность «Камней».

Иронические стихи обнаруживают генезис поэтики Элсберга, по крайней мере того ее крыла, опирающегося на воздух вагантов, и — ближе — дадаистов и обериутов. Даже по этим — в известном смысле скудным — переводам, видно,

что молодая латышская поэзия потеряла поэта редкого, поэта истинной радости творчества.

Наиболее удачными в книге являются переводы стихов Мариса Мелгалвса. Произошло это, по-видимому, потому, что его стихи предельно конкретны и не терпят многозначительных недосказанностей, что, тем не менее, парадоксальным образом отнюдь не исключает абстрактных нюансов смысла.

С дороги не сойду. Благоухает все
в природе.
В разгаре лето. Полдень только что настал.
Застыло время. Верный знак, что
на подходе
Полуденных видений карнавал...

...С дороги не сойду. Кругом белым-бело
зимою.
И ледяные губы мне ласкает вьюга.
Во многих зимах встретитесь еще со мною.
Но в мае нам не повстречать друг друга.

Это, конечно, элегия со всеми присущими этому лирическому жанру свойствами, «... проникнутое смешанным чувством радости и печали или только грустью, раздумьем, размышлением, с оттенком поэтической интимности» (А. Квятковский. Поэтический словарь, М., 1966).

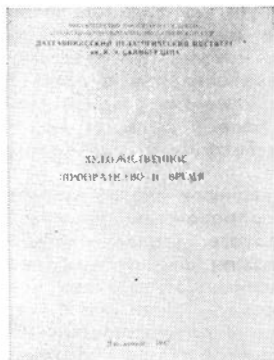
Особое внимание Мелгалвс уделяет присутствию лирического «я». Неизменный лирический герой как бы стягивает стихи, придает им четкость и меру (точнее — именно лирическое «я» и служит мерой изображаемого мира), «примеривает» изображаемый мир на себя, подобно фотографу, наводящему резкость для съемки выбранного им объекта. Предметные объекты изображения Мелгалвса — улицы, городской ландшафт, природа, увиденная (и это важно, потому что характерно и индивидуально) поэтом-горожанином. Особенная «песенковость» таких стихов — а они наиболее интонационно характерны для всей латышской урбанистической поэзии — более всего созвучна с поэтикой Александра Чака.

Айзпуриете любит думать. Ее многое смущает в жизни, образ дороги — не ее... «Дом и свет есть у меня, / В попутчицы — не гождусь» — с прозаической трезвостью констатирует она. Ей ближе созерцательность. Не зря она сравнивает свой взгляд с лунным светом: «в мире, полном околных дорог, / Есть одна, что струится мимо / Кипарисов и полевицы / К горизонту от горизонта — / Без прохожих, легко, свободно...» Это ее дорога — дорога, изображенная на картине. Она не провоцирует поэтессу на побег «из

картины» — из дома, где она так уютно устроилась. Дорога в ее интерпретации — нечто большее, чем символ жизни. Она скорее всего то, что есть на самом деле — Дорога, Нарисованная На Картине, объект медитации, «А черная рама, тайны вокруг, / Слияются с ночью, и лунный свет / Проникает в картину глубже, / Чем наш повседневный взгляд».

На этой живописной и многозначительной ноте и хотелось бы поставить точку.

Алексей ИВЛЕВ



ПОЭТИКА ХРОНОТОПА

Термин «хронотоп», изобретенный М. М. Бахтиным и обозначающий нечто вроде «пространство-время», закономерно возник именно в культуре XX века, давшей эйнштейновскую релятивистскую модель мира, где пространство и время не существуют изолированно (как в классической модели Ньютона), а, напротив, тесно скоординированы друг с другом. Поэтому исследование художественного пространства и времени — специфический феномен филологии XX столетия. Работы М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева, посвященные этой проблеме, открыли перед исследователями целую самостоятельную отрасль поэтики, которую можно назвать поэтикой хронотопа.

В течение ряда лет в центре внимания даугавпилских исследователей была категория сюжета. Название нового сборника — свидетельство перемещения ученых к проблеме пространства и времени. Переход этот внутренне мотивирован самой природой сюжетного единства текста, развертывающего мир рассказываемых событий и событие самого рассказа в специфически организованном пространственно-временном поле. Именно эти моменты берет за отправную точку открывающая книгу статья Л. М. Цилевича, которая переключает вопросы сюжета в русло проблематики художественного пространства и времени. Содержание сборника показывает прикладной характер его статей, которые посвящены поэтике хронотопа в лирике Ф. И. Тютчева и С. А. Есенина, в поздних произведениях Ф. М. Достоевского, в романах У. Голдинга, а также в отдельных произведениях русской и европейской литературы: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Удивительная история Петера Шлемиля» А. Шамиссо, «Бабье царство» А. П. Чехова, «Пески» А. С. Серафимовича, «Книга джунглей» Р. Киплинга.

В статье В. С. Баевского «Из наблюдений над художественным пространством „Евгения Онегина“»

Художественное пространство и время. — Даугавпилсский педагогический институт им. Я. Э. Каллиберзина, 1987.

дается противопоставление больших пространств, таких, как Москва, Петербург, Деревня, Дорога (автор называет их топосами), — малым пространствам, таким, скажем, как гостиная, театр, кабинет (они названы локусами). При этом, как отмечает Баевский, один и тот же локус в контексте разных топосов может превратиться в свою противоположность: гостиная в Петербурге место дендистского поведения, в то время как в деревенской гостиной гости устраиваются на ночлег.

Разные персонажи пушкинского романа как бы «вскормлены» различными пространствами. Онегин может жить более или менее полноценной духовной жизнью лишь в Петербурге — в деревне его поведение подчинено светскому автоматизму (отсюда и трагическая история с Ленским). Татьяна, напротив, существует как личность лишь в деревне, в Петербурге она превращается в свою противоположность — холодную светскую красавицу. Оригинально высвечивается в аспекте поэтики хронотопа фигура Ленского, с одной стороны, данного только в топосе Деревни, но, с другой, — воспитанного в Геттингене, под небом Канта, Шиллера и Гете.

Принципиально новым является анализ мотива реки в «Онегине», всюду сопровождающего главного героя: Нева в Петербурге; деревенская река, возле которой расположен дом дяди; речка около места дуэли с Ленским. Смысл этого мотива проясняет образ Леты — реки забвения, сопровождающей Онегина и противопоставляющей его, как показано в другой статье сборника, посвященной «Евгению Онегину», — Автору как персонажу романа. Ю. Н. Чумаков, перу которого принадлежит эта статья, показывает, что пространственным символом Автора оказывается в противоположность реке — море, озеро или пруд. Река задает линейную модель времени, результатом движения которого является забвение, хаос. Море, «круглая» вода задает циклическую картину времени, символ вечности творчества (ср.: «Быть может, в Лете не потонет / Строка, слагаемая мной»).

С судьбой романтического хронотопа мы встречаемся в статье Ф. П. Федорова, где автор вскрывает возможности анализа пространственно-временной структуры «Удивительной истории Петера Шлемиля», строит картину сложного синтеза просветительских и романтических традиций в художественном мире текста. Прославленная новелла Шамиссо, счастливо пережившая столько толкований — от неоромантических до неореидистских — предстает в освещении Федорова перекрестком многих дорог европейского хронотопа.

Применительно к некоторым статьям сборника можно говорить о расширении проблемного репертуара поэтики хронотопа. Этим, в частности, отличается небольшая, но чрезвычайно содержательная работа В. С. Белькинда о Хлестакове,

вводящая столь знакомое нам лицо в глубокую историко-культурную перспективу, в частности соотносящая Хлестакова с темой самозванчества. Как самозванец Хлестаков постоянно живет в пространственно-временном двоемирии: с одной стороны, это бедная гостиница в уездном городе, дом городничего; с другой — гиперболизированный столичный мир, где Хлестаков действует, как сказочный герой, не испытывая никаких затруднений. Мир фантазии Хлестакова расширяет рамки его реального бытования — когда он кричит: «Я везде, везде», то сам он верит этому. Парадоксальным образом это роднит его с Пушкиным, с которым он «на дружеской ноге». Это «братание» Пушкина и Хлестакова — символ биполярности культуры и предупреждение Гоголем об опасности, которая грозит высокой культуре, — превратиться в культуру массовую.

Очень важно, что сборник, объединивший под одной обложкой филологов разных городов, имеет не только научное, но и учебное и методическое значение: он представляет собой и хорошее пособие по теории литературы для студентов и аспирантов. Книгу несомненно с интересом прочтут все интересующиеся теорией литературы и культурологией.

Константин ИСУПОВ

ЮБИЛЕЙ ИМАНТА АУЗИНЯ

Вечер, посвященный 50-летию поэта Иманта Аузиня, состоялся в республиканском Доме работников культуры. Открыл его фольклорный хор «Клинчи», исполнивший народные песни.

Выступавшие рассказывали о творческом пути Иманта Аузиня, отмечали его вклад в развитие латышской поэзии и в особенности, в лиро-эпическую поэзию, вершинами которой можно считать его работы: «Пли! 1905», «Болото», «Радуга над лесом». Все тридцать лет, подчеркнул Марис Чаклайс, поэт берег и прумножал этические традиции латышского народа.

Программы, составленные из стихов И. Аузиня, с которыми выступали М. Шнейдере и Я. Витолина, продемонстрировали многогранность творчества юбиляра.

На снимке: юбиляра приветствует фольклорный хор «Клинчи».

НАГРАДЫ

Указом Президиума Верховного Совета ЛССР Крикису (Руе) Валдису Карловичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР».

Почетное звание народного артиста Латвийской ССР Указом Президиума Верховного Совета Латвийской ССР присвоено главному режиссеру Государственного Лиепайского театра Кродерсу Ольгерту Робертвичу.

Звания «Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР» Указами Президиума Верховного Совета Латвийской ССР присвоены дирижеру профессионального духового оркестра «Рига» Круминьшу Айвару Карловичу и члену сценарной редакционной коллегии Рижской киностудии Лоленцу Виктору Клавсовичу.

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Латвийской ССР награждены следующие деятели культуры республики:

Путныньш Паулс Янович — заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, драматург.

Кроинитис Янис Екабович — артист профессионального духового оркестра «Рига».

Лацис Юрис Вильевич — концертмейстер профессионального духового оркестра «Рига».

Дрейбат Янис Эмильевич — актер Государственного Лиепайского театра.

За высокий идейно-художественный уровень исполнения и активное участие в мероприятиях Дней культуры Кировской области РСФСР в Латвийской ССР народные коллективы ансамбль «Дымка» и ансамбль песни и танца «Искорка» награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.



НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

приуроченная к 110-й годовщине со дня рождения А. Упита, была посвящена актуальным проблемам развития латышской литературы и итогам 1987 года. Она была организована Институтом языка и литературы имени А. Упита АН ЛССР, филологическим факультетом ЛГУ им. П. Стучки и Союзом писателей Латвии.

В. Хаусманис подчеркнул, что в наши дни литературное наследство А. Упита нуждается в новом прочтении — углубленном и более открытом.

С развернутым докладом о развитии поэзии в 1987 году выступил К. Скуенник. Он сказал, что латышская поэзия выполняет свою основную задачу — дать духовный портрет личности и общества.

Анализ прозаических произведений года сдела-

ла Д. Удре, отметив удачные творческие дебюты В. Спаре и Г. Репши; к наиболее заметным произведениям года она отнесла «Оленьи горы» П. Упмале и «Люди в лодках» А. Бэла.

Тему соотношения жизни и ее отображения на театральной сцене развила в своем выступлении об общих проблемах и тенденциях современной латышской драматургии С. Радзобе, для которой своеобразной точкой отсчета стала пьеса Г. Приеде «Пахнут грибы», написанная двадцать лет назад и опубликованная только в 1987 году.

Критическим выступлением года посвятил свой доклад Х. Хирш, который высказал мнение, что господствует критика описательного характера, связанная с нивелировкой критериев.

ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — К НАМ

Дни культуры Кировской области в Латвийской ССР начались с посещения гостями памятников В. И. Ленину, С. М. Кирову и А. Упиту, а вечером того же дня в Академическом театре драмы им. А. Упита состоялось открытие Дней культуры и концерт, в котором приняли участие приехавшие к нам творческие коллективы гостей — фольклорный ансамбль «Горенка», хор Слободской школы хорового пения «Искорки», народный коллектив, ансамбль песни и танца «Искорка» и танцевальный ансамбль Кировской области «Дымка». Совместно с этими коллективами в сопровождении группы народных инструментов выступала певица, солистка филармонии Галина Савина, музыканты, чтец Б. Сорокин.

В Ригу прибыла официальная делегация Кировской области во главе с секретарем Кировского обкома партии Я. Карачаровым. Руководителей и представителей творческих организаций Кировской области принимали Союзы писателей, художников, архитекторов. Гостями наших писателей были ответственный секретарь писательской организации О. Любовиков, писатели В. Ситников, Н. Перминова, Г. Кустенко.

В выставочном зале «Латвия» были представлены образцы изобрази-



тельного и прикладного искусства (живопись, графика, дымковская игрушка и т. д.), а в Государственной библиотеке им. В. Лациса — литературная экспозиция, подготовленная Кировской областной научной библиотекой им. А. Герцена «Родина Кирова — на страницах книг».

Отдавая дань памяти выдающемуся государственному и партийному деятелю, гости и рычане собрались у памятника С. Кирову в парке его имени. Кировчане посетили Саласпилс и музей латышских красных стрелков; их приняли на предприятиях и в организациях Риги. Особо хотелось бы упомянуть встречу в Доме печати, когда сюда пришли рижане, которым в годы войны дала приют Кировская область.

Состоялись выезды в Юрмату и в Елгавский

район. В Домском концертном зале хор «Искорки» дал совместный концерт с хором мальчиков школы им. Э. Дарзиня.

Несколько дней были посвящены знакомству с районами республики.

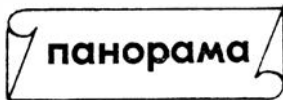
В прощальном концерте, состоявшемся во Дворце культуры и техники п/о ВЭФ, приняли участие наши коллективы «Ювентус», «Золотое ситчеко».

На снимках: возложение венков к памятнику жертвам фашизма в Саласпилсе; выступают артисты из Кирова.

В РЕДАКЦИИ «КАРОГСА»

гостили писатели из северной столицы Латвии, как в нашей республике называют Киров. — поэтессы Надежда Перминова, Галина Кустенко и прозаик Владимир Ситников. Они встретились с руководителями литературных изданий и коллективом журнала

Собравшиеся отметили роль, которую далекие северные края играли в жизни и творчестве выдающихся представителей латышской литературы — Райниса, Аспазии, М. Кемпе, А. Упита и других, то тепло, с которыми кировчане в годы войны встречали эвакуированных латышей.



К ЧИТАТЕЛЮ

«Уважаемая редакция!

После того как в середине 1986 года вы объявили о постоянной рубрике НФ и в самом деле начали ежемесячно публиковать фантастику, я решил подписаться на «Даугаву». Подписался и на новый год. Но вот 11-й номер — без нее. Что это — случайность? Или вы решили отказаться от НФ? И как это связано с отсутствием фамилии главного редактора В. Михайлова на обложке?

Если это — новая позиция журнала, а, как ходят слухи среди любителей НФ, так это и есть, то я жду объяснений. Раз редакция обещала публиковать НФ в каждом номере, она должна публиковать в каждом!

Б. А. Завгородний (Волгоград)».

Нельзя сказать, что таких писем мы получаем много, но если даже их единицы, это — читательские письма и, значит, требующие того, чтобы на них был дан ответ.

Объяснимся.

Действительно, журнал в 1986 году обещал читателям публиковать научную фантастику, хотя и тогда не было сказано, что НФ будет присутствовать в каждом номере. Тем не менее читатели, конечно, заметили, что из номера в номер журнал отдавал свои страницы научно-фантастической прозе, тесня все остальные жанры. За период чуть больше года журнал опубликовал (в семи номерах) роман Стругацких плюс целый ряд научно-фантастических повестей и рассказов из многих городов страны. И, естественно, у журнала появился новый подписчик, предпочитающий фантастику.

Но была в это время у «Даугавы» и другая почта, напоминавшая редакционному коллективу об основных задачах журнала, выходящего в Латвии, — необходимости прежде всего популяризировать латышскую лите-

Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодник, Язеп Дановскис, Мартинь Зелменис, Айвар Лиепиньш, Ояр Мартинсон, Валия Станкевица, Роланд Фогт.

На первой странице обложки: Какова работа — таково и вознаграждение. Планат работы художника Юриса Димитерса.

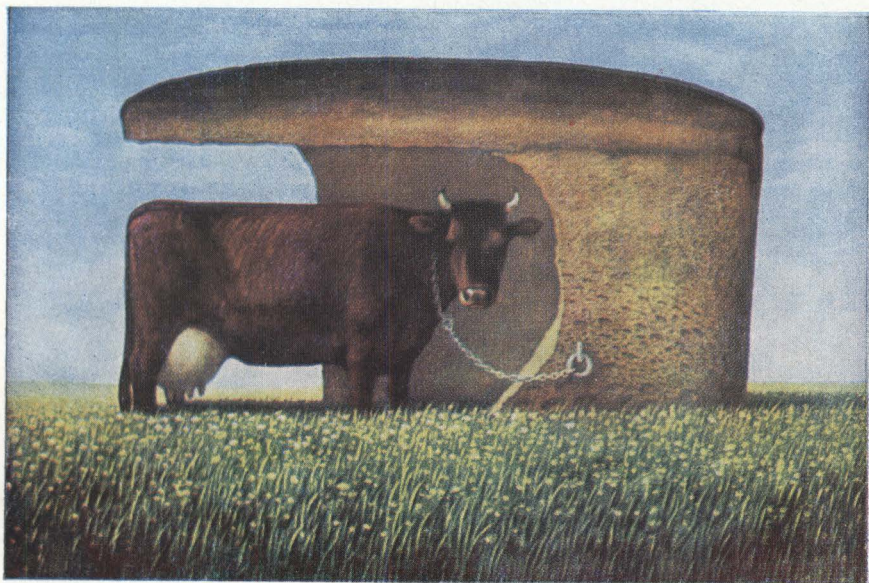
На четвертой странице обложки: Упростить управленческий аппарат! Планат работы художника Мариса Субачса.

Фото Роланда Фогта

Сдано в набор 17.12.87.
Подписано к печати 19.01.88. ЯТ 00103.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,86 ус. кр.-отт.,
10,19 уч.-изд. л. Тираж 37 000.
Заказ № 1692. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. критики и публицистики 465990.
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии.
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

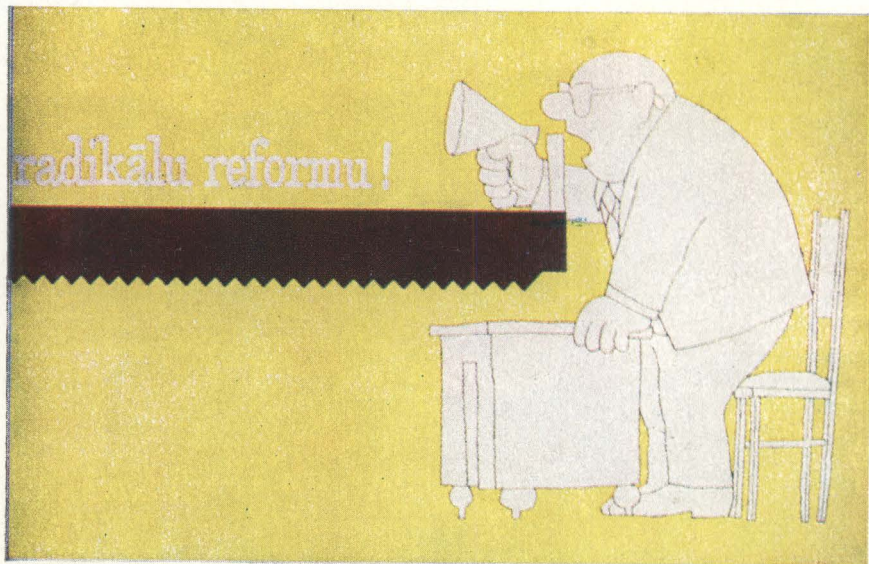
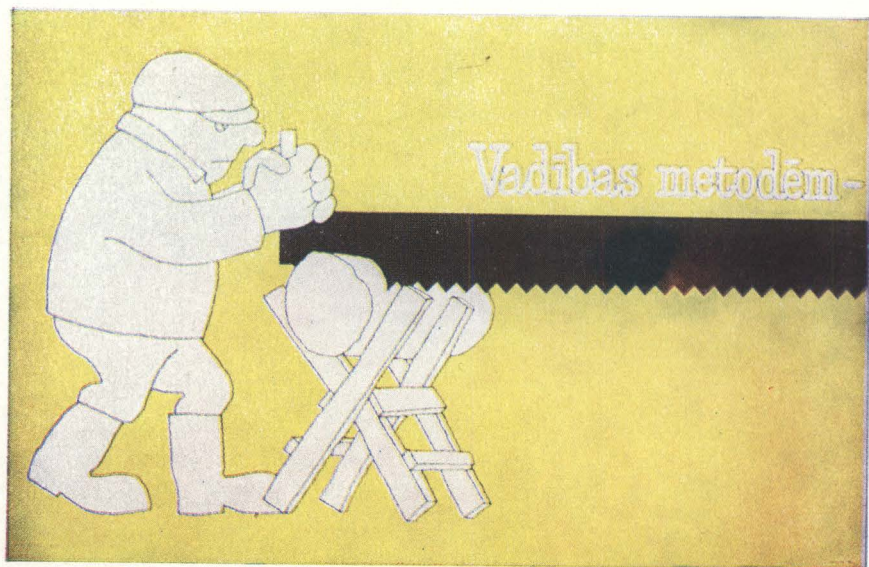
Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



Иварс Майлитис. Без подписи

Гунар Кирке.
Где тонко —
там и рвется





Вилнис Дидрихсонс. Методам управления — радикальную реформу!


ратуру среди русского читателя, а также русскую литературу, создаваемую в регионе. Читатели напоминали также об отсутствии в журнале настоящей, сегодняшней проблемной публицистики, которая так необходима в период перестройки экономики и общественного климата в стране. Журнал упрекали в недостаточном внимании к прошлому, а также к конструктивной дискуссионной критике, формирующей литературный процесс. Можно ли было не прислушаться к такой почте!

Комиссия Союза писателей Латвии, проанализировавшая работу журнала, справедливо рекомендовала в кратчайшие сроки восстановить нормальное положение дел, не сбрасывая со счетов реальные требования жизни.

Перемены в журнале пришлось на четвертый квартал минувшего года, когда подписка в основном уже завершилась и предупредить читателей о переориентации журнала мы своевременно уже не могли, тем более что сама перестройка издания еще не завершена — она только начата.

Тем не менее не все потеряно. Согласно правилам подписки любой читатель может ее прекратить с любого месяца с возвратом затрат.

Единственное, что хотелось бы добавить к сказанному, так это то, что лучшие произведения научной фантастики будут интересовать журнал и впредь, конечно в разумном сочетании с другими жанрами литературы. Мы надеемся также, что читатель найдет в номерах 1988 года острый и правдивый разговор о наболевших проблемах перестраивающегося общества — и на уровне истории, и на уровне экономики, и на уровне этики. Серьезно и честно заглянуть в недавнее прошлое и настоящее не менее важно, чем в далекое будущее.



VĪENKĀRŠOT PARVALDES APARĀTU!

